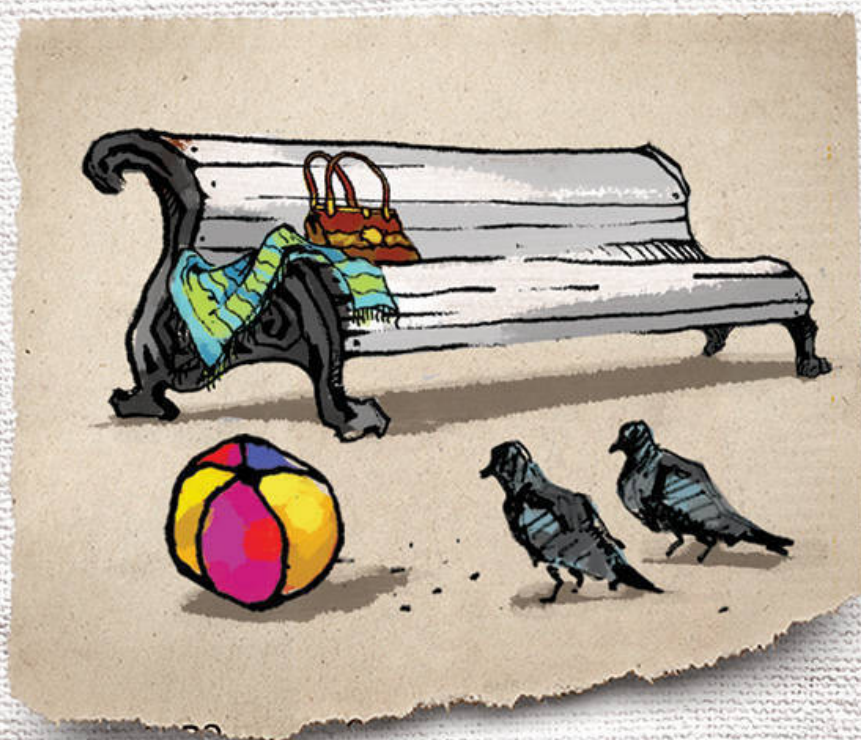


Мария Метлицкая



Ошибка
молодости

За чужими окнами

Мария Метлицкая

Ошибка молодости (сборник)

«ЭКСМО»

2013

Метлицкая М.

Ошибка молодости (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо»,
2013 — (За чужими окнами)

ISBN 978-5-699-66288-3

Когда Николаев бросил жену с новорожденным больным ребенком, ему казалось, что он просто перевернул страницу жизни и начал новую. Как в школьной тетради: на этом листе много помарок, начнем с чистого, там-то все будет аккуратно, правильно – как надо. Ему понадобилось много времени, чтобы понять: из жизни не выдернешь страницы, как из школьной тетради. Подлость стоит очень дорого, и работа над ошибками просто исключена. Новая книга Марии Метлицкой – истории о тех, кто совершает ошибки. И, как всегда, о жизни, которая, подобно строгому учителю, не разрешает вырывать испорченные страницы.

ISBN 978-5-699-66288-3

© Метлицкая М., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Ошибка молодости	5
Свои и чужие	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Мария Метлицкая

Ошибка молодости (сборник)

Ошибка молодости

Он приходил каждую неделю. Как часы – в девятнадцать пятнадцать. Видимо, после работы. Садился на скамейку у третьего подъезда и доставал пачку сигарет. И так – в любое время года. Если температура на улице зашкаливала за двадцать мороза, иногда забежал в подъезд – погреться. Клал руки на батарею и притоптывал ногами.

Жильцы, проходящие мимо или гуляющие во дворе, только поначалу смотрели на него с подозрением и опаской. А потом и вовсе перестали замечать – привыкли.

Так он проводил время до определенного момента – момента, когда во двор входила пара, мать и сын. Завидев их, подозрительный незнакомец вздрагивал и отступал назад. Когда эта пара входила во двор и направлялась к третьему подъезду, он нервно затягивался сигаретой, бросал окурочек в урну и делал шаг вперед. Навстречу.

И тут наткнулся на взгляд женщины – жесткий, колючий, раздраженный. Почти ненавидящий.

Впрочем, не почти. А даже откровенно, яростно ненавидящий. Такой, от которого хочется скрыться, испариться, исчезнуть моментально и необратимо. Словно тебя никогда и не было на этой земле.

Он резко отступал назад, несколько шагов, еще пару. Прижимался к стене дома, почти съеживался, опуская руки и голову.

Исчезнуть, исчезнуть. Раствориться в пространстве. Чтобы никогда – никогда – не наткнуться на этот взгляд. Потому что невозможно, невыносимо его выдержать. Потому что бесчеловечно и жестоко – так.

Хотя что там говорить – заслужил. А раз заслужил – так и получи!

Медленно, трясущимися руками он раскуривал очередную сигарету и, шаркая ногами, словно старик, двигался прочь. Со двора. Прочь!

– Никогда больше! – бормотал он. – Никогда! Хватит унижений, хватит боли! В конце концов... У меня своя жизнь. Ну уж какая есть. Не приду. Больше не приду. Идиотская затея.

Но он знал, что через несколько дней придет сюда снова.

Мать и сын шли всегда неспешно, всегда под руку. Шли и оживленно разговаривали. Иногда было видно, что они горячо спорят. Тогда они останавливались, сын размахивал руками, а мать смеялась и, поправляя на мальчике шапку, обязательно чмокала его в нос, после чего смеялись уже оба.

Были они удивительно похожи: курносые, сероглазые, темнобровые. Оба в очках – очевидно, близорукие.

Мать всегда встречала сына у школы. Завидев ее, мальчик радостно махал рукой и торопился как мог. Она всегда успевала выкрикнуть:

– Не спеши! Не беги! – И лицо ее при этом искажалось гримасой беспокойства.

А он все равно торопился. И пытался бежать – как мог. Получалось плоховато – мальчик сильно хромал. Портфель он держал в правой руке – левая безжизненно висела вдоль угловатого подросткового тела.

Мать делала шаг навстречу, мальчик, поставив портфель, обнимал ее здоровой, левой, рукой. Они обменивались последними школьными новостями и не спеша отправлялись домой.

Частенько их можно было видеть в кондитерской. Мать садилась за стол, а сын шел к прилавку. Там он заказывал кофе для матери, чай для себя и пару пирожных – шоколадный эклер и безе.

Они смаковали все это баловство с явным и неспешным удовольствием и с таким же явным и неспешным удовольствием продолжали общаться.

Иногда, перекусив, направлялись в кино. Или в сквер – если была приятная погода. Там, сев на скамейку, они доставали книжки и очень сосредоточенно читали, тоже с явным интересом и удовольствием. В это время мать и сын не общались – молчали, не мешая друг другу. Чтение – вещь интимная.

Молодые мамы, караулящие в школьном дворе своих первоклашек, разглядывали эту пару с интересом и завистью. Однажды рискнули все же обратиться к женщине, послав представителя – самую бойкую и общительную.

Та извинилась и задала маме мальчика один вопрос:

– Как вот сделать так, чтобы... Короче говоря, чтобы сын любил родителей, уважал, относился к ним бережливо и трепетно, как ваш мальчик.

Мать сначала рассмеялась, потом растерялась, залилась румянцем и в смущении развела руками:

– Да бог его знает! – А потом, сдвинув густые красивые темные брови, медленно и задумчиво произнесла: – Ну... Любить, наверно...

Интервьюерша удивилась – ответ ее явно не удовлетворил, она даже разочаровалась.

– Ну, любить... А кто же не любит своих детей?

– Ой, правда! – Женщина опять густо зарумянилась, снова крепко призадумалась и, наконец, произнесла: – Вот уважать, наверно, еще надо. Никогда не отмахиваться. Всегда находить на ребенка время. Даже если ты очень занята – готовка там, или уборка. Ведь ребенок важнее, верно?

Молодая мамаша кивнула.

– Да, – уверенно повторила мать мальчика. – Ребенок важнее всего! Думаю, так. Впрочем, какой из меня советчик и педагог? По образованию-то я химик-технолог! И опыта у меня никакого! Сын первый и единственный! Все – по наитию, все от сердца! Смелей – и оно не обманет!

Потом женщина увидела в толпе подростков своего мальчика и, привстав на цыпочки, помахала ему рукой.

Собеседница ее больше не интересовала.

В воскресенье мать и сын выходили на прогулку с высоким седовласым мужчиной, отцом семейства. В середине – мать и жена, любимая маленькая женщина, по бокам – сын и муж. Они оживленно беседовали, и взрослые чуть замедляли шаг, стараясь попасть в такт шагов мальчика.

Возвращались они с пакетами и сумками из магазина и с рынка. Частенько обедали в соседнем ресторанчике, объявив, что сегодня у любимой мамы выходной.

Переехали они в наш двор не так давно, каких-нибудь пять или шесть лет назад.

С бабушками на скамейках, местными дворовыми «авторитетами», женщина не общалась, только вежливо, с улыбкой здоровалась. Но дворовые всезнайки знали, что зовут ее Люба, хроменького сына – Сережа, а глава семьи – Евгений Андреевич. Все. Больше никакой информации, что, естественно, огорчало и не удовлетворяло в полной мере любопытство завсегдаев двора.

Относились к этой семье с уважением – мать-то какая! Всю жизнь больному дитю посвятила! А папаша! Ни разу пьяным не явился. Ну ни разу! Только с пакетами и рысачит каждый вечер. Да еще и цветы прихватит или торт. Приличная семья, ничего не скажешь! Вот захо-

чешь – и не скажешь. Потому что нечего. Только жалко – такая семья, а мальчишка больной. Не повезло людям, не повезло! А когда приличным людям везло?

Когда Люба ловила на себе жалостливый или участливый взгляд, ей становилось смешно. Наивные глупцы! Ее ли, счастливейшую из женщин, надо жалеть? Вот как им рассказать, что она счастливее их всех, вместе взятых? Ведь не поверят! Она относилась к ним снисходительно – с высоты своего счастья, своей удачи – и улыбалась открыто и задорно.

Потому что счастливому человеку улыбнуться несложно.

* * *

Николаев не хотел себе признаваться – даже сейчас, спустя много лет, – что не хотел этого ребенка. Ни этого, ни какого другого. Какой ребенок? Они с женой студенты, живут в квартире его родителей. Мать относится к молодой снохе не очень, честно говоря.

– Люба твоя – блаженная! Всю жизнь проходит в розовых очках! На все – с улыбкой и со смешком. Ну не дурочка ли? Все ей в радость, все нипочем. Точно – дурочка. Глазки нараспах.

Он буркал:

– А что, это плохо?

Мать отвечала с тяжелым вздохом:

– Да, сынок. Плохо. Жизнь – штука серьезная, и к ней надо относиться с почтением. Тогда и она тебе тем же ответит. А если к ней, как к подружке, беспечно, так она потом по морде настучит, не сомневайся!

Женился Николаев на втором курсе. Рано, конечно. Только влюбился и – море по колено. И на все сложности наплевать. Если бы он знал тогда, что тогдашние трудности – смех, пыль, ерунда по сравнению с тем, что еще предстоит. И на что он, как всегда, по привычке, по свойству натуры и характера, решит «наплевать».

Всю беременность Люба ходила с улыбкой. Трогала веточки пушистой вербы – радовалась. Букету полевых колокольчиков – радовалась. Пломбир в стаканчике – тоже счастье. Всё – счастье: синичка с желтой грудкой, котенок соседский, бродячий лохматый пес. Яблоко – какое сладкое! Сыр – боже, до чего пикантный! Хлеб – такой теплый! А дождь? Какой потрясающий дождь! А до чего приятно пахнет асфальт после дождя! Комедия какая чудесная! А книга – просто гениальная! Все талантливо, все замечательно! И люди вокруг – одни прекрасные и одухотворенные лица!

– Ты дура? – говорил он. – Не видишь алкашей, слякоти, очередей? Обмана? Пустословия, ехидства, зависти? Разбитой мостовой, хамства окружающих? Лицемерия знакомых? Ничего не видишь?

Она пугалась и мотала головой. Правильно говорит мать – дура. Блаженная. И как с нею жить?

Женщина должна быть такой, как его мать, например: собранной, жесткой, объективной. Без всяких там – пуси-муси. А как выжить иначе? Мать всегда впереди, всегда главный советчик и поддержка. Женщина должна вести дом, рассчитывать бюджет – кому туфли, кому пальто, сколько на отпуск отложить и на черный день.

А эта? Увидела кофточку и схватила. Потом еще одну. Сколько можно? Потом плакала – прости, так захотелось, просто до слез!

Вот и поплачь, поплачь! Поизвиняйся. Вместо того чтобы на коляску, например, отложить. Или на манеж. Стыдно? То-то!

Мать сетовала:

– О чем ты, Люба, думаешь? Вот где у тебя голова?

Та совсем расстроилась, даже жалко стало. А потом – дура есть дура! – пошла эту несчастную кофточку к галантерее продавать. Стоит, дрожит, как осиновый лист. Милиционера увидела – и со всех ног. В ее-то положении! Еще одно подтверждение – дура!

На дороге упала, спасибо что не под машину. Головой ударилась и спиной.

Мать сказала:

– Тебе только башкой ударяться! Все равно опилки внутри. – И отнесла назавтра кофту эту чертову на работу. Конечно, продала. Еще и на пятерку дороже!

Не то что эта... «Несклепа» – правильно мать ее называет. Зайчик солнечный на стене. Поверни зеркальце – и нет.

Дурак. Зачем торопился? Гормоны, правильно сказала мать. Повелся на поводу своих желаний, вот теперь и расплачивайся за ошибку молодости. А тут еще ребенок!

Если бы Николаев знал тогда, если бы мог предположить, что она, эта девочка, тоненькая, светлоглазая, курносая, окажется сильнее всех женщин на земле!

* * *

Роды были до срока. Ранние и тяжелые. Осложненные роды. Воды отошли, схватки дикие, а ребенок все не шел. Тянули щипцами. Вытянули. А он не плачет. Молчит. Зато мамаша кричит:

– Почему он молчит, почему?

Истерика, понятное дело. Откачивали долго. Акушерка глянула на часы и посмотрела на врача. Тот насупил брови и бросил:

– Еще!

Закричал! Точнее – пискнул. Недоношенные не кричат, пищат, как мышата. Ну и слава богу! Вытащили. А что потом?... Хорошего мало, конечно. Акушерка опытная, все видит. Да и педиатр хмурится – хилый ребеночек, дохленький. Не жилец, по всему видно.

Ладно, не их дело. Их совесть чиста. А там – как судьба распорядится. На них греха нет.

А мамаша уже смеется:

– Сыночек мой! Звездочка! Солнышко мое ясное!

Охохошеньки! Грехи наши тяжкие. И за что ей, такой молодой? Впрочем, хорошо, что молодая. Еще родит. Если бог даст.

Кормить малыша не приносили. Говорили, так слаб, что сосать грудь не сможет. Лежит в камере с подогревом, под колпаком. И кормят его внутривенно. А она заливалась молоком. Не женщина – молокозавод. Сцеживать грудь было невыносимо больно. Она плакала и кусала до крови губы. Ее молоком кормили троих малышей.

Вечером, держась за стену, на дрожащих от слабости ногах Люба брела к реанимации. Если дежурила сестра Нина, она тащилась обратно. Нина была злая и вредная, а Надя, Надюша, тихонько кивала и впускала Любу в палату. «На одну минуту», – предупреждала строго.

Люба заходила в палату и смотрела на сына: крошечный, бледнющий, вздрагивающие ножки-прутики. На сморщенном личике гримаса боли. Пяточки темно-синие от уколов. Весь в проводах, в пластыре. «На аппарате» – Надюшины слова.

Она шептала:

– Сыночек! Не подведи! Борись, мой миленький! Только не сдавайся! Сейчас все зависит от тебя! А дальше – мы вместе! Я буду с тобой! И я обещаю. Обещаю – слышишь? Все будет нормально! И даже – замечательно! Ты же мне веришь? И я тебе! Держись, мой любимый! Я знаю, как тебе тяжело!

Надюша заглядывала в палату и шипела:

– Все. Свиданка закончилась.

Она готова была целовать этой Надюше руки.

И опять по стеночке ползла в палату. Падала без сил, не чувствуя боли в груди и внизу живота, и, счастливо улыбаясь, засыпала. Знала – все будет хорошо. Верила в то, что сыночек ее не подведет. Выкарабкается.

По-другому не может быть никак.

* * *

Педиатр, молодая красивая женщина с туго затянутым блестящим пучком на затылке, вышла в холл для беседы с родственниками. Эту обязательную часть работы она не любила больше всего, потому что приходилось часто говорить о неприятном. А неприятности она просто не выносила. Да и родственники попадались разные, в том числе очень нервные: начинали истерить и хватать ее за руки, пытались сунуть в карман открахмаленного до голубизны халата деньги. Еще не хватало! В деньгах она не нуждалась – полковничья жена. И в подарках тоже.

Но эти – эти были вполне вменяемы. Высокая, ухоженная, строгая женщина (свекровь, понятно) и совсем молодой, просто юный, растерянный папаша. С такой тоской в глазах! Даже жалко стало бедолагу.

А правду сказать все равно пришлось, несмотря на сочувствие. Все по букве закона и врачебному кодексу.

– Да, ребенок недоношенный, слабый. Лежит в кювезе на искусственной вентиляции легких, а это далеко не плюс! Никак не можем раздышать. Ну а посему – возможны всякие последствия. Предугадать какие – трудно.

Высокая женщина задавала четкие вопросы. Не рыдала и не сморкалась. Все по делу, грамотно. Общаться с ней было приятно, если может быть приятно в такой ситуации. Пришлось даже сказать главную правду, хотя произнести ее непросто:

– Да, лучше бы... Уж вы меня извините, но, я вижу, вы женщина выдержанная и разумная. Простите, бога ради, я, конечно, не должна этого говорить, однако... Из чистой человеческой симпатии и уважения, так сказать. Они такие молодые. Будут еще дети. Не сомневайтесь. А здесь... Всем мука. Всем – и ребенку, и родителям. Последним в особенности. Я-то знаю, во что превратится их жизнь. Так что советую подумать. Настоятельно советую, от всей души.

Высокая женщина свела брови и кивнула:

– Вы правы, безусловно. И спасибо вам за правду. Огромное!

Молодой папаша вздрогнул и вжал голову в плечи. Мать бросила на него строгий, даже суровый взгляд.

Педиаторша вздохнула и пошла к следующим страждущим. Свою миссию она посчитала выполненной.

* * *

Люба лежала на узкой жесткой больничной койке и смотрела в потолок – грязно-серый, в желтых подсохших разводах. «Безрадостный такой потолок, безнадежный», – подумала она.

Да что там потолок! Жизнь оказалась куда безрадостнее и безнадежнее. Вбить бы в этот потолок прочный металлический крюк и оборвать одним махом свою жизнь. Просто взять и закрыть эту тему. Раз и навсегда. И не будет больше слез и страхов. Не будет тоскливых, сверлящих голову мыслей: «А что же дальше? Как вообще со всем этим жить?»

Она не спала уже четвертую ночь. Встать с кровати совсем не было сил, а тут еще это бесконечное, словно река, текущее из груди молоко. Молоко, которое не нужно ее ребенку! Не пригодилось вот. Обильное, жирное, пахнущее чем-то сладким.

Боже, какой кошмарный запах – молока, больницы, пригорелой каши и ее страха!

Соседки по палате кряхтели, стонали, жаловались, обменивались впечатлениями, но они жили, им приносили на кормление младенцев! Женщины, не замечая Любу – счастье эгоистично, – сюсюкали с малышами, теребили их за щечки, нюхали жидкий пух на крошечных головках, разглядывали пальчики на руках.

Они кривили от боли лица, когда младенцы, жадно вцепившись в грудь, прихватывали перламутровыми деснами потрескавшиеся соски. Постанывали от боли, закрывали глаза, но... Люба видела, как они счастливы! Нет, не видела: конечно, она не могла на это смотреть – отворачивалась к серой стене и зажималась. Она не видела – чувствовала, какая благодать разливается по палате, как замирает, останавливается, а потом звенит, словно хрустальный, воздух. И счастье, огромное, точно пышное и мягкое розовое облако, накрывает этих бледных, измученных молодых женщин и их малюток, сосредоточенно и важно исполняющих свое главное на сегодняшний день дело.

Николаев к окну палаты не подходил. Все подходили и кричали: «Таня, Оля, Светик!»

Тани, Ольки и Светики вскакивали с кроватей и, наспех пригладив ладонями волосы и запахнув сиротские казенные халаты, бросались к окнам.

Иногда подносили к окнам малышей.

А Люба опять смотрела на серую стену, до боли сжимала глаза, губы и затыкала пальцами уши.

Муж написал ей записку. Одну-единственную: «Поправляйся, ешь фрукты, набирайся сил».

Вместе с запиской нянечка принесла пять яблок, пастилу и апельсиновый сок.

Соседка по палате покрутила пальцем у виска:

– Дурак твой! Какие цитрусы? Разве кормящим можно? – потом вспомнила: – А, да ты у нас не кормящая...

Молоко у Любы перегорело накануне. «Все, – сказала она себе. – Я больше не молочная ферма, и слава богу, если уж я своего не кормлю».

Медсестра перевязала ей грудь. Туго, больно, но стало легче. К вечеру поднялась температура под сорок. Люба стряхнула градусник и ничего медсестре не сказала. «Сдохну – и славно! Как будет хорошо!»

А ночью начался бред и судороги. Соседки вызвали дежурного, и ее перевели в отдельный бокс.

Через пару дней принесли записку от свекрови. Та высказывала Любе сочувствие и делилась своими переживаниями – за нее. О ребенке там не было ни единого слова.

Люба сползла с постели и вышла в коридор. Голова закружилась, она только успела выкрикнуть:

– Помогите!

Врач Инна Ивановна сидела на краю кровати и гладила ее по руке.

– Нет, мальчик жив. Про то, что здоров, говорить не будем. Физически чуть окреп, самую малость. Да, в кювезе, но аппарат отключили – раздышался, слава богу. А ты, – она сдвинула брови, – должна держаться! Слышишь? Другого выхода просто нет. Кто, если не ты? Мужики, они, знаешь, девочка... За себя-то частенько не отвечают! А тут за больного ребенка! На мужа не рассчитывай. Струсит. Молодой, трясется, как заяц, аж пот по лицу льется. А свекровь твоя... – Врач помолчала. – На нее не надейся. Не нужны ей ни ты, ни дитя. Так она мне и заявила. Поэтому спасешь его ты и только ты, поняла? Ты, как я знаю, сирота? Детдомовская?

Люба кивнула.

– Тетка есть в Казани, сестра отца. Но она и меня-то не взяла, когда родители погибли. Так, навещала в интернате иногда. Овсяное печенье и леденцы привозила.

Инна Ивановна стояла у окна и молчала.

Потом повернулась и спросила:

– Что делать-то будем, девочка?

– Жить, – тихо ответила Люба.

Инна Ивановна улыбнулась:

– Вот теперь я вижу: у тебя будет все хо-ро-шо. – Она кашлянула и смущенно бросила: –
Пойду покурю. Страшное дело – зависимость.

* * *

Она вышла из роддома через месяц – одна, без сына: мальчика перевезли в больницу еще на три месяца.

С мужем они не разговаривали. Совсем. Он прятал глаза и старался убежать из дома. Свекровь, придя с работы, однажды жестко бросила:

– А суп не могла сварить? Или хотя бы картошки? Все работают, между прочим. Все делом заняты! Кроме тебя! Валяешься целый день с опухшей мордой и себя жалеешь! А лучше бы мужа своего пожалела! Уж он-то с тобой влип по уши! С тобой и с твоим... – она замолчала, бросила в мойку чашку. Та с жалобным звуком звякнула и разлетелась на мелкие осколки.

– Моим? – переспросила Люба. – А к вам он отношения не имеет? Ваш собственный внук?

– Внук? – свекровь рассмеялась мелким, дробным смехом. – Нет, милая! Он мне не внук! В нашей семье никогда уродов и инвалидов не было!

– Были! И есть, – ответила Люба. – Вы и ваш сын, к примеру.

Свекровь резко развернулась и хлестко ударила ее по лицу.

Мальчик все время спал. Плакал так тихо, что казалось, под шкафом пищит мышонок. Ел по капельке, отворачивался от бутылки и жалобно морщил нос. Даже пустышку не мог удержать. Она подкладывала под щечку свернутую пеленку. Тонюсенькие, как прутики, ручки. Словно две палочки, бледные ножки. А вот волосики были густые, светлые, заворачивались в запятую на затылке. И глаза удивляли – серые, огромные, с темными и длинными ресницами.

Приходила медсестра, делала массаж.

* * *

– Какой хорошенький мальчик! – умилялась она. – Чудо, а не ребенок! И спокойный какой! А сил, мамаша, наберет! И тельце нагуляет! Не сомневайтесь даже! Я таких деток видела! Не приведи господи. А ведь родители их вытаскивали. С того света, за шкуру. Любовь, мамаша, главное! Любовь! А с ней-то и черт не страшен!

Люба кивала, утирая ладонью слезы. И в этот момент верила. Абсолютно верила словам этой простой и бесхитростной женщины – все будет хорошо!

Потому что главное – любовь! А уж этого у нее в избытке!

* * *

Спустя почти два года после рождения Сережи Люба вспомнила разговор с Инной Ивановной, обещание жить, которое тогда ей дала. Но жить с каждым днем становилось все невыносимее, у нее больше не было сил находиться в атмосфере постоянной ненависти и лжи. И

она позвонила Инне Ивановне, нашла ее в отделении, сама не понимая, что творит, ведь, по сути, какое дело немолодому и малознакомому человеку до ее горя.

Инна Ивановна вспомнила Любу и даже назвала по имени, а потом, затянувшись сигаретой, сказала, что через два часа за ней заедет.

– На сборы – всего два часа, поняла? – строго повторила она и положила трубку.

Люба, словно соскочив с раскаленной сковородки, заметалась по комнате, бросая в старый чемодан свои и детские вещи.

Мужа не было дома. Свекровь пила кофе на кухне.

Услышав возню у двери, она вышла в коридор и удивленно приподняла узкую накрашенную бровь:

– Далеко ли?

– Далеко, – коротко бросила невестка. – Так далеко, что, надеюсь, больше никогда не увидимся.

Свекровь, кивнув, усмехнулась:

– Счастливого пути!

Бросив вещи в коляску и подхватив на руки сына, Люба вышла на лестничную клетку и нажала кнопку лифта.

Дверь квартиры с громким стуком закрылась.

Инна Ивановна стояла у такси и, разумеется, курила. Увидев Любу, выходящую из подъезда, бросила окурочек и подскочила к ней. Взяла сверток с мальчиком, откинула край одеяльца.

– Ну! – протянула она. – Ты же просто красавец, малый! Прямо Аполлон Бельведерский! Или Вячеслав Тихонов – тоже неплохо!

Люба плакала и смеялась.

Жила Инна Ивановна в двушке на окраине Москвы, почти у самой Окружной дороги.

– Хоромы не богаты, – вздохнула она, открывая простую, довольно обшарпанную деревянную дверь.

Провела Любу в маленькую комнату и сказала:

– Теперь это ваши апартаменты. Располагайтесь. А я пока с ужином чего-нибудь покумекаю. Знаешь, Любаша, хозяйка из меня... Раньше мама готовила, пока жива была. А теперь... Для себя одной готовить-то не будешь. Неохота. Так и гоняю чай с утра до вечера. С хлебом и маслом. Иногда украшаю стол сыром или колбаской. Такие вот дела.

Люба положила сына на кровать и огляделась. Желтые обои в мелкий цветочек, выгоревшие и отклеенные по углам. Узкая тахта, письменный стол, двухстворчатый древний шкаф с мутным зеркалом и старый торшер с дряхлым абажуром.

Было понятно, что ремонт здесь не делали сто лет.

И еще было понятно, что это – ее дом. Ее и Сережи. Их первый в жизни дом.

* * *

Сидеть на шее Инны Ивановны было невозможно. Невыносимо просто. А что делать? Хорошо еще, что она взялась делать Сереже массаж – уже экономия на массажистке. На все остальное едва хватало, даже при их скромнейших запросах. Люба взялась за готовку. И это тоже облегчило положение. Из одной синюшной, вырванной в тяжелых битвах курицы ей удавалось сварить и первое, и второе и растянуть это на три-четыре дня. Придя с работы, Инна Ивановна кричала из коридора:

– Любаша, а первое у нас есть? Так хочется горячего супчика!

Люба ставила на плиту кастрюлю. Едок из Инны Ивановны был самый что ни на есть благодарный. Ела, закатив глаза от удовольствия, и постанывала. Ее худое морщинистое лицо порозовело и округлилось.

– Скоро в юбку не влезу! – вздыхала она. – А юбка-то всего одна!

Люба купила плотной серой ткани и сшила юбку. Обновка пришлась впору. Инна Ивановна прослезилась:

– После смерти мамы никто обо мне так не заботился!

– А вы обо мне? О нас с Сережей? – теперь расплакалась и Люба. В общем, развели сырость на пару.

А с Сережей все было непросто. Правда, вес он понемногу стал набирать, произносил какие-то невнятные слова и даже передвигался по комнате в ходунках. Еще с удовольствием слушал книжки, любил гулять и засыпал под колыбельную, спетую хриплым, прокуренным голосом любимой «Ии». Так он называл их благодетельницу. И еще помогали – нет, просто спасали – Иннины связи. Нашлись и опытейший педиатр, и невролог, и логопед, и инструктор по лечебной гимнастике. Кто-то брал небольшие деньги, а кто-то консультировал за так, бескорыстно, из уважения к коллеге. В общем, вытягивали Сережу всем миром.

Любе было трудно. Очень. Особенно когда она видела здоровых, крепких детишек Сережиного возраста, активно копошившихся в песочнице и на качелях. Детки уже вовсю лепетали, строили песочные замки и куличики, ловили мячи и устраивали между собой шумные разборки. А ее сын только-только пытался ходить – несмело и неловко, крепко вцепившись в материну руку.

Врачи советовали море – надолго, минимум на три месяца. Солнце, песок и вода должны были сотворить чудеса. Грязевой курорт, лечебные ванны. А денег на море не было, хоть плачь, вой, кричи, умоляй или молись.

Не говоря ничего Инне Ивановне, она решила позвонить бывшему мужу. Ох, как не хотелось! Так не хотелось, что от одной этой мысли начинало тошнить и кружилась голова.

И все-таки она решила: «Наплевать! Здоровье Сережи важнее моих амбиций, страха, унижения – всего».

Она позвонила из телефона-автомата. Никак не могла проглотить ком, застрявший в горле. На лбу выступила испарина, похолодели и задрожали руки.

Трубку взяла бывшая свекровь.

– А, это ты! – разочарованно произнесла она. – Ну! И что ты от нас хочешь?

Люба что-то бессвязно залопотала.

Свекровь ее резко остановила:

– Что? Деньги? Какие деньги? На море? В санаторий? Ты что, спятила, матушка моя? Откуда у нас деньги? Я все время на больничных – по состоянию здоровья. Не без твоего, кстати, участия. – Она повысила голос. – А Петр с тобой развелся. Официально. Развели – тебя-то найти возможности не представилось! Сбежала, как вор с места преступления. Некрасиво. Ни до свидания, ни спасибо. Не объяснили тебе, что за добро нужно людей благодарить! Где уж там, в приюте... Там научат! Как прописку московскую получить и инвалида выродить. А еще приличным людям жизнь испортить.

Люба молчала. Было так страшно, так мерзко и горько, до желудочных спазмов, что она не смогла произнести ни слова в ответ этой гадине. Этому животному. Этому ходячему кошмару и чудовищу.

– Да! – выкрикнула свекровь. – И не смей сюда больше звонить! У Пети своя жизнь. Слава богу, без тебя и твоего... Он женился! Удачно, слава богу! У него прекрасные жена и ребенок. Замечательный мальчик. К тому же – абсолютно здоровый! И про алименты забудь – мы еще докажем, что ребенок не от Петра! У нас в роду дебилов не было! Это тебя родители выбросили на помойку! Вот там инвалидов и ищи!

– Бога поминаете... – прошептала Люба.

Свекровь рассмеялась:

– Это я так, к слову! Какой бог, помилуй! Я всю жизнь в райкоме партии проработала!

Люба вышла из телефонной будки и опустилась на скамейку. Страшнее, унижительнее и мучительней минут в ее жизни не было. Ни в детском доме, ни после рождения сына. Никогда. «И больше не будет!» – решила она. Протерла горящее лицо горстью снега и медленно, пошатываясь, пошла к подъезду. У подъезда от резкой, горячей боли в животе ее скрутило пополам и вывернуло наизнанку. А к вечеру поднялась температура – высокая, под сорок.

Инна пришла с работы и заметалась – ни красного горла, ни ломоты, ни кашля, а крутит девку, как в аду на чертовом колесе.

Напоила теплым молоком и дала аспирин. К утру Люба была здорова. Только двигалась по стенке еле-еле – от слабости. А к вечеру, сама не ожидая, рассказала все Инне Ивановне.

Та слушала молча. Ничего не комментировала. Дослушав до конца, вздохнула и подняла на Любу глаза.

– Все, забыли. Нет таких людей в нашей жизни. И ничего от них нам не надо, даже алиментов паршивых. Сами Сережку вытянем, слышишь? Сами! Мы теперь – семья. И друг за дружку... – Она резко встала, отвернувшись к окну и закурила. – Чайку-то попьем? Как всегда, на ночь? У нас еще вроде вафельный торт в холодильнике завалялся?

– Завалялся, – улыбнулась Люба и поставила на плиту чайник.

* * *

А на море поехали! Всем чертям назло! Инна Ивановна отнесла в ломбард свою единственную драгоценность: золотые часики с браслетом, доставшиеся от папы.

Купили путевку и – вперед! Сережа увидит море! Да и Люба заодно. Первый раз в жизни, кстати!

После санатория – два месяца, два полных срока – Сережа здорово окреп. Почти бегал, подволакивая левую ножку. А вот с рукой было по-прежнему плохо – не мог держать ни ложку, ни карандаш. Спасибо, что левая.

Осенью получили путевку в специальный садик – для деток с ограниченными возможностями. Ее выбила Инна. Писала во все инстанции и по ним же пару месяцев моталась без продыху. В садик устроилась и Люба – нянечкой. Стало полегче. В четыре года Сережа знал все буквы и пытался сложить слова. Мог часами слушать пластинки со сказками. Замирал, когда по «Маяку» передавали классическую музыку. Вытягивался в струнку и застывал. В школу он пошел семи с половиной лет. Умел читать и писать – буквы аккуратные, четкие, ровные. «Не пропись, а заглядение», – говорила учительница.

Люба заливалась краской и была счастлива так... Как никогда в жизни.

В восемь лет Сережа вполне прилично играл в шахматы – Иннина школа. А дальше – шахматный кружок. И там он опять впереди!

* * *

Мать проедала плешь:

– Надо жениться, Петр. Надо.

– Для чего? – вяло отбrehивался Николаев. – Один раз попробовал.

Жениться, разумеется, не хотелось. Вот совсем. Иногда мучила совесть, случалось такое. И тогда появлялись мысли найти Любу. Нет, ребенка видеть не хотелось. Да и не помнил он его совсем – так, какой-то кусочек плоти, мелкий, красный, пищавший. Что там можно было полюбить? К чему прикипеть? Бред какой-то.

Нет, мать, разумеется, несет чушь – определенно. В том, что это его ребенок, он ни минуты не сомневался. Люба и измены? Уж ее-то он знал хорошо. Но это еще больше огорчало Петра – то, что ребенок его. Значит, и он неполноценный, ведь в мальчике течет его кровь!

Да, мать, конечно, права. С ними надо было расставаться. Другого выхода не было. Жить с этим кошмаром, с этим чувством вины? Смотреть, как его ребенок отличается от других, здоровых, красивых... нормальных?! Катать мальчика в инвалидном кресле? Вытирать слюни на подбородке? Кормить с ложки жидкой кашей? Менять обделанные штаны? Короче говоря, перечеркнуть всю свою жизнь? Одним махом?! Забыть про все: про приятелей, поездки в разные города? А на море? В театры? Куда ж с инвалидной коляской, господи?

Все помыслы, планы... все деньги, наконец, принести в жертву этому ребенку?! Да что там планы и деньги... Всю жизнь!

Которая, между прочим, дается, как известно, человеку один раз!

И надо прожить ее так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. Кажется, так у классика?

* * *

Женя появился в их жизни, когда Сереже было почти девять. Ленинградец, сын Инниной школьной подруги. Перевелся в Москву в Генштаб, до этого прослужив много лет в Забайкалье.

Первый брак развалился через полгода после приезда семьи в гарнизон. Не выдержав первых серьезных испытаний, ничего не объяснив и даже не оставив записки, молодая жена упорхнула к родителям. А может быть, просто не любила? Или не успела полюбить? И такое случается. Брошенный муж – позор на весь городок – ее не осуждал. Тихая, изнеженная и избалованная ленинградская девочка, мамина и папина любимая дочка.

Уехала и уехала. Счастливого пути! И тут хоровами заходили потенциальные невесты: продавщицы, медсестры, парикмахерши и официантки из офицерской столовой. Такие круги наматывали, что от их напора он здорово сдрейфил. Но подоспел перевод в столицу. Вовремя, надо сказать, иначе он, кадровый офицер, молодой, крепкий, сильный духом мужчина, такого напора не выдержал бы.

Дали комнату в общежитии. Обещали квартиру – намекнули: как окольцуешься, так сразу.

Он рассмеялся:

– Не дождетесь! В ближайшие планы это точно не входит!

Надо еще от того предательства отойти. Обида была – чего скрывать! Живой ведь человек! К тому же мать ему написала: «Видела твою бывшую с новым мужем, беременную».

Бог с ней! Пусть будет здорова и счастлива. Вот зла он ей точно не желал.

К любимой Иннуле заглянул сразу, как устроился. За чаем долго болтали, вспоминали смешные случаи из его детства. Вернее, вспоминала Иннуля, а он краснел и смущался. Очень. Потому что рядом хлопотала прелестная молодая курносая и сероглазая женщина с прекрасным именем Люба. Любовь. Какое чудесное слово!

А возле нее крутился и тоже был явно смущен такой же сероглазый и курносый маленький человек по имени Сережа.

Поженились они через три месяца. Хотя предложение Женя ей сделал через две недели после знакомства. Потому что наконец понял, что такое настоящая любовь.

* * *

Светуля – именно так, а не иначе – оказалась коллегой матери. Точнее – секретаршей райкомовского секретаря, босса, или «папы», как называли его за глаза. Светуля пришла на день рождения маман. С тортом собственного изготовления и букетом белых гвоздик.

– Как невесте! – зарделась маман.

Светуля накрывала на стол, протирала хрустальные бокалы и расставляла в вазах цветы.

У маман был юбилей. Гостей пришло много, самое почетное место (кресло – не стул) досталось «папе». Он был громогласен, велеречив и внушителен. Много и шумно ел и, не дожидаясь тостов, частил с «беленькой». Впрочем, любил и речи – с усилием выпрастывался из кресла, стучал ножом по фужеру, призывая соблюсти тишину, и утомительно долго, путая падежи и не сдерживая отрывку, пел осанну юбиляре, скромно потупившей глазки в тарелку. Не забывал и о «боевой подруге», своей секретарше Светульке.

Та глазки не тупила. Только ручкой махала:

– Да ладно вам, Василь Семеныч! Чего уж там. Работа такая!

На кухне мать спросила Николаева:

– Ну, как тебе Светулька?

– Кто? – переспросил он.

– Кретин ты, Петя, – ответила маман и бросилась в ванную на шум падающего тела.

Василь Семеныч к тому времени был уже определенно «телом». Сразу вызвали личного «папиного» шофера Костика, который благополучно это «тело» и откантовал: сначала в черную служебную «Волгу», а потом – домой, в объятия горячо любящей супруги Антонины Палны, женщины крепкого сибирского здоровья.

Вместе и переложили «тело» на широкую полированную румынскую кровать. «Уконропутили», по выражению Антонины Палны. А потом супружница «папы» накормила Костика огненным малиновым борщом. С мозговой косточкой.

Добрая женщина.

* * *

Светулька отправила маман «отдыхать» и принялась намыwać посуду. Потом взялась за полы.

Следующим этапом – по плану – был он, Петюшка. Звучало панибратски, прямо скажем. Николаев недовольно дернулся.

Светулька, не отрывая от Петра взгляда, тщательно вытерла руки кухонным полотенцем и взялась за него. В прямом и переносном смысле.

Николаев задохнулся от ее крепких рук и кислого привкуса вина на губах и почему-то подумал, что пропал. Теперь не вырваться.

* * *

Стеснять Инну Ивановну не хотелось. Да и как разместиться всем в ее крошечной квартирке? Но и уйти так сразу было невозможно. Люба видела, как Иннуля за нее рада, даже не рада – счастлива! Но также она замечала, как Инна замирает у окна, громко вздыхает по ночам и явно не спит, как застывает ее взгляд, и сколько в нем тоски из-за снова надвигающегося одиночества.

Решили так: Люба и Сережа остаются пока у Иннули – до получения новой квартиры. Женя приезжает к ним на выходные, или Люба к нему в общежитие – на этом настаивала мудрая Иннуля. Сережка по-прежнему ходит в свою школу. А дальше... дальше все ясно: квартиру обещают трехкомнатную. Женя не верит, говорит, вряд ли. Но все равно, невзирая на количество комнат, Иннуля, конечно, переезжает с ними. Без вариантов.

Люба приезжала к мужу в субботу утром, и они шли гулять по Москве. Любе хотелось в музеи – Женя смеялся, что после Питера столичные экспозиции его вряд ли удивят. Они просто бродили по улицам. Как всякий питерец, Женя любил покритиковать столицу. Люба

обижалась и спорила, словно сама была столичная штучка. И все же определились с любимыми местами – Замоскворечье, конечно, Арбат.

Бродили часами. Женя читал ей стихи, и каждый раз она смотрела на него с восторгом. Потом пили кофе в кафе, обязательно с мороженым. Вот здесь он не спорил, признавал: московское мороженое вне конкуренции. Ночевали в общежитии, а наутро ехали к Сереже и Иннуле.

Сережа висел на подоконнике и, не отрываясь, смотрел в окно. Иннуля безуспешно – увы! – пыталась приготовить немудреный обед. Сережа бросался к Любе и Жене одновременно, широко расставив руки, пытаясь обнять, обхватить обоих. Люба даже немного ревновала. Иннуля, заметив это, покрутила пальцем у виска и вздохнула:

– Да, не ожидала. Держала тебя за умную.

Люба, видя неумелую, подгоревшую Иннулину стряпню, вставала к плите и принималась за готовку.

А потом семья – семья! – садилась обедать. С разговорами, обсуждением дальнейших планов на жизнь, с долгим чаепитием. И опять – с разговорами.

Квартиру Жене дали через полтора года – двухкомнатную, как и предполагалось. Смотреть поехали все вместе. Люба ходила по пустым, гулким комнатам и молчала. В горле стоял комок. Женя с Иннулей обсуждали будущий ремонт и покупку кухонного гарнитура.

Люба открыла окно и задохнулась от свежего порыва весеннего ветра и слез. Женя, подойдя сзади, обнял ее за плечи.

Ремонт делали сами, помогали Женины друзья. А мебель достала Иннулина бывшая пациентка, не без Иннулиной помощи разрешившаяся два года назад крупной двойней мужеского пола.

А вот переезжать в новую квартиру Инна Ивановна категорически отказалась. Резко пресекала все уговоры.

– У меня есть квартира, где прошла вся моя жизнь, где жили и умерли мои старики. Здесь мне уютно и привычно, я сама себе хозяйка. А вот в гости приезжать буду, не сомневайтесь! Потому что жить без вас уже не смогу! – твердо сказала она и вытерла набежавшую слезу.

* * *

Свою беременность – анализ «на мышку» – Светуля предъявила через месяц после первого, полупьяного, соития. Причем сначала она поделилась этой радостью с потенциальной свекровью.

Та присвистнула и улыбнулась:

– Молодец, Светуля! Ловко поддела моего дурачка!

Теперь улыбнулась и Светуля.

– Ладно, не радуйся! – продолжала «свекровь». – Ты еще ребеночка здорового роди! А уж потом тебе медаль и всяческая моя поддержка, не сомневайся! Но! – Она свела брови и бросила на Светулю грозный взгляд. – Про сигареты и коньячок забудь! И про подружек своих шальных тоже! Знаю я вас! С этого дня – фрукты, овощи и трехчасовые прогулки! За этим я посижу! Будешь хорошей женой – поддержку тебе гарантирую во всех, так сказать, смыслах. А начнешь дурить... Вышибу вмиг! Ни ребенка не увидишь, ни света белого. – Она села на стул и устало прикрыла глаза. – Ребенок мне нужен здоровый! Ясно тебе?

Светуля с готовностью кивнула.

– А то была тут одна... Сирота детдомовская. Без роду, без племени. – «Свекровь» поморщилась. – Родила мне урод... Все ясно?

Светуля испуганно сморгнула и снова кивнула. И еще поняла, что здорово влипла. Крепко так, капитально. И вряд ли получится что-то исправить. Например, сбегать в очередной раз в абортарий.

Теперь ее точно не выпустят. Попалась птичка.

* * *

Жизнь была прекрасна! Господи, какая же чудесная настала жизнь! Люба днями хлопотала на кухне – пекла пироги, замысловатые торты, мудрила над экзотическими салатами. Только чтобы порадовать своих любимых мужичков, как она их называла. Как она украшала квартиру! Свою первую в жизни квартиру! Окна мыла раз в неделю, занавески стирала раз в две. А уж пыль и полы! Каждый день, а то и не по разу. Собирала букеты – везде цветы, в комнатах и на кухне. Зимой – веточки сосны, весной – вербы или багульника. Вязала кашпо из макраме. Вышивала на полотенцах имена: Женюра, Серенький, Люба.

Муж приходил с работы и, поев, садился заниматься с Сережей. Играли в шахматы – Женя говорил, что Сережка гений. Смотрели футбол или хоккей. Шумно болели за любимые команды. Спорили, остроумничали, делились впечатлениями.

Люба суетилась на кухне и иногда заглядывала в комнату. А потом садилась на кухонный табурет и шептала:

– Мамочки мои! И за что мне все это? За какие заслуги?

Сережа учился прекрасно. Успевал и по точным наукам, и по гуманитарным. В шахматном кружке его считали самым перспективным, самым способным. Интересовался искусством – живописью и классической музыкой. Последнее – влияние Жени. Люба взяла абонемент в Пушкинский на лекции по живописи. Женя покупал билеты в зал Чайковского.

Летом, в июне, на белые ночи, обязательно ездили в Питер. Женина мама, Лариса Петровна, принимала гостеприимно. В своей комнате размещалась с Сережей, а крошечную гостиную отдавала «молодым».

Сережа, по понятным причинам, ходить пешком долго не мог. По окрестностям Питера их возил на собственных «Жигулях» Женин двоюродный брат Антон. Ездили в Кронштадт, Павловск, Репино. За городом жарили шашлыки, и Антон пел под гитару бардовские песни.

Ходили и по гостям – у Жени была куча друзей: одноклассники, одноклассники, приятели по спортивной секции и по двору. Люба видела – ее муж, ее любимый Женька, всегда впереди, всегда на первых ролях. Остряк и весельчак, добряга и умница. В общем, есть чем гордиться.

Сережу всегда брали с собой – и в гости, и в театры. Люба видела, что сын устает, переносить такие нагрузки ему все же сложновато. Но муж успокаивал, объяснял, что мальчик не должен себя чувствовать инвалидом, слабым и ущемленным. И она понимала: Женя абсолютно прав.

Однажды спросила о том, что ее постоянно мучило: о ребенке, их с Женей общем малыше. Сказала, что все понимает и готова родить.

Муж долго молчал, а потом ответил:

– Вот Сережку поднимем, и тогда... Тогда будет видно! С двумя ты не справишься. Сейчас главное – Сережа. Его надо развивать, с ним надо заниматься. Парень ведь необыкновенный! – горячо добавил Женя. – Столько в мальчишке талантов! Я просто теряюсь, в какую сторону его направлять.

Люба хлюпнула носом и тихо сказала:

– Спасибо тебе. За Сережу и вообще... за все. Но я же понимаю, что тебе хочется своего! Женя сел на кровати и, посмотрев на жену, удивленно покачал головой:

– Дурында ты, Любашка! А он мне что, не свой? И спасибо еще...

В общем, с маленьким решили пока подождать. И, честно говоря, Люба облегченно вздохнула. Эгоизм, конечно, но... Только она знала, как за все эти годы она устала и чего все это ей стоило! Только одна она. А другим знать и не надо. Тем более – близким и любимым! Зачем им расстраиваться?

* * *

Светуля с маман готовились к свадьбе. Денег маман не жалела. Платье от Зайцева, туфли только итальянские. Норковый палантин, бриллианты на пальцы и в уши.

Разумеется, ресторан. «Прага», не меньше. «Чайка» для разездов по городу. Маршрут известный – Ленинские горы, могила Неизвестного солдата, Красная площадь и Мавзолей.

Допоздна сидели со Светулей на кухне и обсуждали. Светуля ни с чем не спорила, со всем соглашалась. А если и пыталась слабенько возразить, маман бросала гневный взгляд и строго говорила:

– В советах твоих не нуждаюсь. Рановато тебе мне советовать!

Светуля краснела и замолкала. А Николаев, женишок, так сказать, видел, какой белой злобой наливались ее глаза. У него сводило зубы от всей этой суеты. И от Светули тоже. Однажды в порыве злобы, не выдержав, бросил маман, что от всего этого предприятия его тошнит и корежит.

Та ответила:

– Пойди поблужай. И морду перекошенную поставь на место! Ты позора моего хочешь? Чтобы она по всей Москве понесла, что сын Николаевой ее обесчестил и с пузом оставил? А она понесет, не сомневайся! И туда, – маман подняла глаза и палец к потолку, – и еще куда надо! И попрут меня с работы с такой репутацией! Ты что, не соображаешь? За ней не заржавеет! Как портки стягивать с пьяных глаз – на это ты скорый. Влип один раз – поплатился. И опять полез, мало было.

– Я не люблю ее! – взмолился Николаев. – Ни ее, ни этого ребенка! И как я буду с ней жить? – Он сел и заплакал.

– Будешь! – усмехнулась маман. – И жить будешь, и ребенка любить! Ты вон ободранку свою любил! А что ж ребеночка ее не полюбил? Да потому что уродца того полюбить было сложно! И в колясочке возить стыдно! У всех – румяные и здоровые, а у тебя – ни мышонка, ни лягушка. И быстро ты Любку эту разлюбил. И забыл быстро, из жизни вычеркнул. Потому что та жизнь была не жизнь – морока одна. Вот ты и рассудил – жизнь-то у тебя одна, другой не будет! И правильно, кстати, рассудил, сынок! Хоть на это ума хватило!

– Не без твоей помощи, – буркнул он.

– Вот-вот! Чистая правда! Так что еще и спасибо за это скажи! А за Светку ты не волнуйся! Пристроим эту шучку, если что! Пока она от меня зависит, рта не откроет, потому что хитрая и жизни сладкой хочет!

– Ты в этом уверена? Что рта не откроет? – усмехнулся Николаев.

Маман рассмеялась.

«Хорошо смеется тот...» – подумал он и вышел из комнаты.

Свадьба получилась пышной, сытной и пьяной – райком гулять умел. Были еще какие-то важные гости, перед которыми маман приседала в реверансе.

Светуля скромно тупила глазки под белой фатой. Были ее родители: тихая мамаша с мышиными глазками и папаша, перепуганный отчего-то до смерти – от роскоши мероприятия, что ли, – и посему нажравшийся в первый час банкета до невменяемости. После ресторана родню молодой отправили к их же дальним родственникам, естественно, на торжество не приглашенным.

Маман отобрала у Светули конверты с деньгами и ушла к себе в комнату – подбивать дебет и кредит. Светуля, позеленев от злости, содрала с себя узкое колючее платье и залегла в кровать, отвернувшись к стене. «Молодой» лег рядом и тоже отвернулся.

Началась семейная жизнь.

Светуля капризничала – тошнит, воняет, душно, холодно. Маман скрипела зубами и помалкивала. Дышать воздухом Светуля отказывалась, есть полезный творог тоже. Грызла шоколадки и валялась у телевизора. Хозяйство игнорировала. Маман приходила с работы и вставала к плите. Светуля с недовольной гримасойковыряла вилкой в тарелке и молча удалялась к себе. Маман бросала в мойку посуду и тоже шла в свою комнату. Николаев вставал со стула и со вздохом убирал следы «удачного» семейного ужина.

В июне Светуля уехала к своим в Кострому. Вернулась к августу и через две недели родила мальчика – крепкого, здорового и пухлого. Было все, что полагалось иметь здоровому младенцу: румяные круглые щеки, перевязочки на пухлых ножках, хохолок на затылке и резкий, громкий, очень требовательный голос.

Маман стояла над детской кроваткой и умилялась. Просто до слез. На этот раз ее не разочаровали – ни бестолковый раззява сынок, ни капризная неумеха невестка. Маман проведенной операцией была весьма довольна.

А эти... Разберутся как-нибудь! Куда им деваться! Все равно этот дурак Петька ни на что путное не способен. Весь в своего папашу! Так что пусть живет с этой Светулей. А то еще какую-нибудь притащит! И прописать захочет! У этой хоть прописка есть. И комната в коммуналке. Если что, будет куда отправить. Одну, разумеется. И она загугукала над проснувшимся внуком. Зазвенела немецкой погремушкой.

Николаев стоял в дверном проеме и недоуменно размышлял над неприкрытой и откровенной страстью своей суровой родительницы к этому толстому, громко орущему младенцу. Странно как-то. Никогда ведь не испытывала сильных чувств к кому бы то ни было. А тут ишь как разобрало! Видно, некогда было раньше любить: работа, карьера. Его, Николаева, растила старенькая баба Надя. Когда бабуля померла, он уже вырос. Глупо как-то лезть с нежностями к колючему, ершистому подростку. И не любит маман всякие сюси-пуси, да и он бы сам этому сильно удивился. Не вспоминались как-то ни ее объятия, ни разговоры, ни поцелуи.

«Мать при должности», – важно говорила гордая за дочь баба Надя и орден «За трудовые заслуги», приколотый к бархатной тряпочке, хранила на видном месте. Ей, простой малограмотной чернорабочей, казалось, что дочка достигла немыслимых высот: кабинет, служебная машина, водитель, обильные, невиданные еженедельные деликатесы в картонной коробке, которые бабка разбирала медленно, с торжественным трепетом и благоговением, долго нюхая и подробно разглядывая.

А уж когда любимая доча пошила важную шубу из черного каракуля, баба Надя и вовсе не спала неделю, потихоньку гладила шелковый мех и, так же как колбасу из коробки, оглянувшись по сторонам, дабы не быть замеченной и обсмеянной, тоже подолгу нюхала.

Когда она умерла, Николаев долго плакал. Почти неделю. Конечно, потихоньку от матери. Понимал просто, что теперь его любить некому, и баловать тоже, и жалеть, и гладить по голове, и пить вечерами чай на кухне – «со сладеньким» – не с кем.

– Жизнь-то надо подсластить! – беззубым ртом смеялась бабулька.

И еще некому печь пирожки с повидлом – огромные, с толстыми, неровными краями, презираемые брезгливой матерью и так обожаемые им.

И никто не будет вздыхать по ночам в кровати и шептать что-то про «боженьку» – естественно, втихоря от суровой дочки. И рассказывать про войну, про деда-солдата, удалого молодца, уведшего Надьку-молодуху у ближайшего друга по причине неземной страсти. И про отца, Николаева-старшего, – шепотом, только шепотом, чтобы, не дай боженька, не услышала

строгая дочка. Про то, что человек он был тихий, добрый, но слабый. И жена, конечно, его придавила. Так придавила, что он задыхаться стал. А потом сбежал – без чемодана, наспех. Вышел за папиросами и не вернулся. В розыск подавать мать не стала, говорила: «Ре-пу-тация». Стыдно. Объявила, что он на Север уехал, в командировку. И начала его проклинать.

– А ты, сынок, на него здорово похож! И лицом, и натурой. Ничего от матери у тебя нет. Ничего! – вздыхала баба Надя, то ли досадуя на это, то ли...

И еще дочку жалела – не выйдет та больше замуж. Не выйдет! Кто ее утерпит? Никто. Нет таких мужиков.

– Вот если бы генерал... Или космонавт, – мечтательно говорила баба Надя. – Но генералов на всех не напасешься! А уж космонавтов – тем более!

* * *

Светуля была матерью равнодушной. Нет, все, что положено, исполняла. Кормила, гуляла, купала – под присмотром свекрови, разумеется.

Но Николаев видел – ребенок Светулю не забавляет и не умиляет. Совсем. Ни нежных прищепываний, ни колыбельных на ночь, ни поцелуев, от которых не откажется ни одна нормальная мать.

Мальчик, названный Александром, Сашенькой, Шуренькой (вариант маман), рос крепким, здоровым, с отменным аппетитом и отлично развитыми голосовыми связками. Первый зубик прорезался к шести месяцам, ползать малыш начал в восемь, встал на ножки в девять и скоро пошел – сразу довольно устойчиво и бодро.

В восемь месяцев бодро отвечал «Га-га-га» на бабкин речитатив «Гуси-гуси». Первое слово малыша, к великому, несказанному удовольствию трепетной «бабули», было, разумеется, «баба». Тут и поставились точки над «і» – не только кто в доме хозяин (с этим и так было все ясно), но и кто самый главный «распорядитель и получатель» ребенка. Маман, разумеется.

Впервые Николаев с удивлением наблюдал, как его властная мать в один момент, в долю секунды, превращается в самую трепетную и нежную, самую ласковую и любящую, вечно сюсюкающую бабушку. Это было для него большим открытием и откровением. Им, своим сыном, она по-прежнему пренебрегала, смотрела на него с иронией и раздражением. А невестку, уже и не скрываясь – теперь-то к чему? – ненавидела. Могла ей выкрикнуть в лицо:

– Кто ты есть? Насекомое под ногами!

Скоро их взаимная ненависть достигла такого предела и накала, что только лишь искры не летели и не было драк. Впрочем, все понимали, что до этого недалеко.

Питались отдельно, вместе за стол не садились. Маман хватала Шуреньку и усаживала его в деревянный детский стульчик напротив себя. Размашисто, ложкой, укладывала на белый хлеб черную икру. С горкой. Клубника в январе, парная телятина с рынка, домашний творог. В субботу гоняла водителя Федю в далекую деревню под Кимрами – за парным молоком, деревенским маслом и свежими яичками. Оттуда же привозились сметана и домашние куры.

Шурик ел хорошо, глаз, что называется, радовался. А бабка продолжала умиляться:

– Прелесть какая, господи! И ест за троих, и вес набирает! И требует своего, как заправский мужик! Орет дурниной. Казак, одним словом! Чистый казак!

«Вспомнила на старости лет про свои казацкие корни», – с раздражением думал Николаев.

О детском саде разговор был один.

– Шуреньку в детский сад? К этим ублюдкам? И чего он там наберется? Нет, ни за что.

Наняли няню – для прогулок. В пять лет пришел учитель английского. В шесть было куплено пианино и приглашена учительница по музыке.

Няня сбежала через две недели – после того как Шуренька ударил куском кирпича на детской площадке трехлетнюю девочку. Малышке наложили три шва, и вечером заявился с претензией ее папа.

Маман сладко улыбалась и извинялась. Предлагала «попить чайку». Отец девочки отказался и принялся угрожать судом. Маман предложила деньги. Он и от этого отказался. Тогда маман пошла на него с размахом. Всем, так сказать, корпусом. Голос ее окреп, и интонации стали привычными. Папаша ретировался, проблеяв, что «так это все не оставит».

Маман рассмеялась смехом трагикомической уездной актрисы и громко хлопнула дверью.

Ни Светуля, ни Николаев во время разговора из своей комнаты не вышли – маман не велела. Притихшего внука она тут же пожалела и посоветовала ему не расстраиваться.

– Пока бабуля рядом... – сладко мурлыкала она.

Шуренька вытер ладонью скупую слезу, смешанную с соплями, и попросил «мороженку». Бабуля погрозила пальцем и достала из морозилки «эскимо».

Светуля сделала очередную рожицу, хмыкнула и принялась красить ногти.

Николаев сорвал с вешалки куртку и, хлопнув дверью, выскочил из квартиры.

Маман недовольно поморщилась и обтерла салфеткой густо испачканный шоколадом пухлый ротик любимого внука.

Шуренька ударил ее по руке и радостно заулыбался.

– Дура! – весело сказал он.

Бабуля погрозила ему пальцем.

Он засмеялся. Было совсем не страшно.

У «англичанина» (пять рублей за урок) он вытащил из кармана пальто кошелек, пока скромный учитель тщательно мыл в ванной озябшие руки – требование бабули. Кругом инфекция.

Кошелек был спрятан под бабулин диван. Деньги смысленный малыш к тому времени вытащил.

После предъявления растерянным учителем факта воровства его же моментально, с угрозами и выставили. В дверь он колотил недолго – бабуля пригрозила милицией.

С «музыкалкой» было и того проще. Шуренька вытащил из кладовки молоток и прошелся по клавишам. Сила, надо сказать, для шестилетнего ребенка у него была немалая.

На сей раз бабуля отругала проказника и даже лишила телевизора и конфет. На три дня. Впрочем, этим же вечером сообразительный малыш открыл буфет и съел конфет пятнадцать подряд. Назло. Пока не затошнило.

Бабуля поняла, что методы запрета оказались недейственными, в чем она и не сомневалась.

– С ребенком надо договариваться, – резюмировала она.

Обиженный Шурик на контакт идти отказывался.

Светуля устроилась на работу – в роно, инспектором. Работа непыльная, да и крайне приятная: все шли к ней на поклон, а она это очень любила. Как-то значительней себя чувствовала, особенно после притязаний свекрови. И вообще, власть – приятное дело, даже самая незначительная. Да и не дома же сидеть – с «этим придурком» и «этой старой сукой». Правильно рассудила. Дома ей было невыносимо. Ребенок раздражал, муж бесил, а про свекровь и говорить нечего. Ту она просто ненавидела.

Сходила с подружкой к гадалке. Старая косматая цыганка, небрежно разбросав карты, крепко затянулась «Беломором» и усмехнулась:

– Не бойсь, девка! Это сейчас у тебя каторга. А скоро все наладится. И мужика найдешь приличного, и от свекрухи-кровопийцы избавишься. Все у тебя будет неплохо. – Тут старуха замолчала на несколько минут. А потом со вздохом сказала: – Только дитя у тебя непутевое. Намучаешься ты с ним.

– Знаю, – нетерпеливо перебила ее Светуля. – Тоже мне – открытие! – Она положила пятерку на цыганкин стол и пошла на выход.

На улице вздохнула полной грудью и улыбнулась. Жизнь обещала наладиться! И сколько всего впереди! Она резво пошагала к метро, напевая себе под нос веселую песенку.

Скоро будет счастье! Целый вагон и маленькая тележка! И забудет она этих чертовых Николаевых как страшный сон. Выплюнет и забудет.

Осточертели.

* * *

Сережу рвали на части – тренер по шахматам, учитель по рисованию. Математичка умоляла принять участие в городской олимпиаде. Словесница послала его эссе о Пушкине в детский журнал, умоляла туда же отправить и стихи. Сережа отказывался, отвечал, что стихи – это слишком личное. Мать и отец с ним согласились. Еще появилась театральная студия, где Сереже предложили роль маленького Пушкина. С ролью юного гения он справился прекрасно, сорвал шквал аплодисментов.

Теперь Сережа занимался еще и в художественной школе при Третьяковке. Преподаватель объяснял растерянным родителям, что парня надо развивать, игнорировать такие способности большой грех.

Люба нервничала, советовалась с Иннулей. Та считала, что художник – профессия ненадежная. Лучше подумать о чем-то реальном, тем более что парню все по плечу. Выбор должен оставаться за ним. Женя ее полностью в этом поддержал – человеку необходимо заниматься любимым делом, вот в чем залог успеха, развития, гармонии и счастья.

Люба согласилась и успокоилась. Впереди еще столько времени! Хватит подумать и определиться. Главное – чтобы здоровье не подводило. Сережино здоровье ее волновало, это было единственное, что омрачало жизнь. Мальчик быстро уставал, болели рука и нога, мучили частые головные боли, скакало давление, барахлили почки и желудок. Однажды врач сказал:

– Не перегружайте парня! Вы должны понимать, что здоровье у него как у очень немолдого человека.

«Сколько еще испытаний впереди? – думала Люба. – А как сложится его личная жизнь? С такими-то проблемами?» Она поделилась своими тяжелыми мыслями с Женей, тот рассмеялся:

– Да до этого совсем далеко.

Она успокоилась, но тревога, конечно, никуда не делась.

* * *

Роман Светуля закрутила совсем скоро после визита к гадалке, через пару месяцев. Подошел на улице приятный мужчина и – понеслось! С «полюбовником» – называла она его именно так – удалось даже смотаться на неделю в Сочи. А в городе Сочи, как известно, темные ночи. Пряные, густые, как душистое, слегка засахаренное варенье из роз.

«Полюбовник» со звучным именем Альберт занимался, судя по всему, какими-то темноватыми делишками. Светуля догадывалась – что-то типа фарцы. Власть Советов презирал, ненавидел и страстно мечтал «свалить отсюда на фиг». Пространно рассуждал об отъезде, о

прелестях «тамошней» жизни. Насчет «прелестей» он не сомневался, жарко убеждал подругу, что там точно рай на земле. Светуля усмехалась:

– Уговариваешь, что ли?

– А почему бы и нет? Вместе, подруга, пробиваться легче. А ты ведь мне подруга?

«Подругой» быть не хотелось. Хотелось быть женой, спутницей и еще – любимой. Любимой она никогда не была. Ни разу в жизни.

Альберт был кавалером щедрым. Очень. Деньги швырял направо и налево. Любил кабаки и пышно накрытые столы. Купил «подруге» золотые сережки. После праздника возвращаться к осточертевшему мужу и ненавистной свекрови было невыносимо. Просто дурно становилось от одной этой мысли.

Светуля раздумывала. С «полюбовником» ей было хорошо. Так хорошо, что душа улетала. Но все же Светуля была дамой замужней и к тому же с ребенком. Сына она так и называла – ребенок. Без имени.

Но и милый друг ничего конкретного не предлагал. Так, разговоры, размытые, непонятные. Отъезд – в каком качестве туда отправится она? Получалось, что только в качестве «законной». По-другому не выехать. Ладно, надо переждать, что-нибудь и как-нибудь разрешится. А пока нужно затаиться.

После той поездки в Сочи свекровь сверкнула глазами:

– Ишь, загорела-то как у тетки под Псковом!

Светуля ничего не ответила. С мужем все было по-прежнему: глухая ненависть и раздражение. По вечерам Светуля уже в открытую, не таясь, наряжалась, обильно красилась, обливала себя, не жалея, духами и выскакивала за дверь.

Свекровь стояла в коридоре и молча наблюдала за действиями невестки: руки крестом на груди, взгляд испепеляющий. Светуля, накладывая толстый слой помады, смотрела на нее из зеркала и нагло ухмылялась.

Свекровь коротко бросала:

– Не споткнись по дороге! Бежишь больно резво!

Светуля ответом не удостаивала – чести много! Но понимала – она победила, обрела свободу от деспота. Потому что законная мать. Мать «ребенка». И никто ее этого не лишит. Даже всемогущая маман. Не за что лишать ее материнства! Не пьяница, не тунеядка, работает в хорошем месте и на хорошем счету. Здоровая, молодая. А то, что к любовнику бежит – ха-ха! – вы еще докажете! И к тому же это еще не повод лишать женщину материнства. А про то, что у свекрови в голове, догадаться можно. На фиг ей Светуля не нужна! Глаза бы ее не видели! А вот внучок – это да. Свет в окне. Вся ее жизнь. Лишиться внучка – лишиться смысла жизни. И даже просто – жизни. «Вот на чем мы и сыграем, – мудро решила Светуля. – Сколько выгоды можно от этого извлечь, если хорошенько подумать! Тут и квартиру можно требовать, и деньги. И еще кучу всего. Посоветоваться нужно с умными людьми. С Альбертом, например. Только он пока молчит. Ладно, время есть, подождем».

Только вот недооценила Светуля свою свекровь. Хорошо ведь знала, а недооценила должным образом. Не понимала по слабости ума, с кем дело имеет. Бедная.

* * *

Люба все время думала – вот за что ей, обычной женщине, ни умом, ни красотой не блещущей, такое счастье? Муж, Иннуля – ближе родной матери, свекровь – человек чуткий и ласковый, Женины друзья – все друг за друга горой, прибегут на помощь в одну секунду и снимут последнюю рубашку. А главное – сын. Сережа. Умница, талант. Самый нежный сын на земле. Близкий дружок. А то, что он нездоров... Бога она никогда не гневала. Рук не

заламывала и не восклицала: «За что?» Потому что никакого наказания, никакой божьей кары в этом не видела. Была уверена: сын – ее абсолютная награда и счастье.

Про то, что тяжело больна Иннуля, они долго не догадывались. Просто смущало немного, что она теперь к ним не приезжала, ссылаясь то на давление, то на погоду.

Женя привозил ей продукты и однажды сказал Любе:

– Что-то с теткой не так. Ходит по стеночке, бледная в синеву, кладу в холодильник продукты, а там еще с прошлой недели полно. Будто и не ела ничего.

В тот же вечер Люба поехала к Иннуле. Когда вошла в ее комнату, сразу все поняла. Она села на край кровати и спросила:

– Как же ты могла? Как могла такое скрывать? Кто, кроме друг друга, есть у нас на белом свете? – И Люба заплакала. Иннуля взяла ее за руку.

– Я врач, детка. Все понимаю. Лучше других. Была у своего приятеля институтского, он в онкологии большой человек. Попросила сказать правду. Он и сказал. Про то, что уже поздно – только меня и окружающих мучить, продлевать ненадолго жизнь, которая будет весьма далека от нормальной, человеческой. Кроме того, это значит, что нужен уход. Больница, сиделка, химия. У вас своих забот полон рот. Женька работает, на тебе и дом, и Сережа. – Она попыталась присесть и хрипло закашлялась. – Вот и скажи, кому все это надо, вся эта суета и дребедень? Попытка обмануть себя и Господа Бога. И еще – деньги, деньги, деньги. А у нас их нет. Ты же знаешь, я транжира жуткая! Получку спускала в первые три дня: кофе, эклеры, тарталетки. Барыня вшивая, прости господи. Ничего не скопила и не нажила. Даже подношений от благодарных пациентов не брала, совесть не позволяла – только цветы. Так что ты мне предлагаешь? Свалить на всех это нелегкое бремя? Какое я имею право усложнять вашу без того нелегкую жизнь? И вообще – пожила, хватит. Сколько можно небо коптить? – Она рассмеялась и опять зашлась в тяжелом кашле.

Люба заплакала. Ревела и приговаривала:

– Как же ты с нами так могла? Как же так? Кто у меня есть роднее тебя?

– Женька, – ответила Иннуля. – Сережка. Семья твоя. Мало? Вот их и тащи! О них заботься!

На следующий день они перевезли Иннулю к себе. Люба, нерешительная и мягкая, здесь была тверже скалы.

– Сопротивление бесполезно, – твердо заявила она.

А у Иннули и не было сил на это.

Четыре последних месяца ее жизни Люба, Женя и Сережа сделали все, что могли. Эти дни были доверху наполнены любовью, заботой и вниманием. Почти перед самой смертью она сказала:

– Знаешь, Любаша, есть такая пословица: человек, имеющий дитя, живет как собака, а вот умирает как человек. А бездетный – живет как человек, а умирает как собака. А я вот и умираю, как человек. И за что мне такое счастье?

Через пять дней Иннулю похоронили.

* * *

Альберт, Светулин «сердечный друг», наконец-то определился:

– Разводись. Решено, едем. Вызов уже в кармане. Поедем в Канаду, там у меня тетка по матери.

– А ребенок? – спросила счастливая Светуля.

Он пожал плечами:

– А что ребенок? Не удастся пристроить – заберем с собой. Я не против. А если папаша с бабкой согласятся оставить на пару лет, пока обустроимся, – еще лучше. Приедем, разберемся,

найдем работу, снимем хату. Короче, оклемаемся слегка – и вперед, бери своего пацана. Что я, зверь лесной? Ты мать, все понимаю. Только учти – трудно там будет первое время. Это точно. А с пацаном еще сложнее. Вот и думай, мать. Шевели мозгами.

Светуля мозгами, как могла, пошевелила. Объявила Николаеву, что хочет развод. Он ответил: не вопрос, хоть завтра. Чем быстрее, тем лучше.

– А что с сыном? Вряд ли маман сдастся без боя, – спросил он.

Она ответила неопределенно:

– Поживем – увидим.

Увидела быстро, не успев пожить. И услышала тоже. Свекровь молча ее выслушала и сказала тихим и страшным голосом:

– Тебя, пыль под ногами, чем скорее забуду, тем лучше. Забуду как страшный сон и даже помогу ускорить твой отъезд, пусть мне это будет стоить работы. Я переживу! А вот внука тебе не отдам! Это даже не обсуждается! Ни теперь, ни потом! Захочешь со мной связаться – пожалеешь. Ни тебя, ни твоего хахалю не выпустят. Ты с работы слетишь – путь только в дворники. А его еще за темные делишки прихватят, не сомневайся! Мне про него все известно. Дальше – моя воля. Усекла?

Светуля кивнула. Усекла, не дура. А может быть, все к лучшему? Пацан при бабке, чего беспокоиться? Она ему в задницу дует. А им с Альбертом там и вправду придется нелегко. Дальше же – время покажет! Эта старая карга тоже не вечная! Скопытится ведь когда-нибудь! Разберемся. Все складывалось на редкость удачно! А если что – ребеночка Светуля еще родит. Новенького. Да к тому же от любимого! Что у нее, здоровья не хватит?

* * *

Больше всех по Иннуле тосковал Сережа. Женя в работе, сплошные дальние тяжелые командировки. Люба закрутилась в делах и заботах – в Питере хворала свекровь. В выходные Люба садилась на «Красную стрелу» и мчалась туда: прибраться, закупить провизию, приготовить на неделю обед.

А Сережа страдал. Повесил над столом фотографию любимой тетки. Писал стихи, посвященные Иннуле. Рисовал эскиз будущего памятника. Как-то резко и быстро повзрослел – сразу, одним днем.

Весной стали думать об отпуске. Сережа мечтал о Карелии: байдарки, сплавы, палатки, рыбалка, костер.

Обсуждали поход с отцом. А вот Любе было тревожно – с Сережиным здоровьем! Такие нагрузки выдержит не каждый взрослый здоровый мужик. А тут мальчишка, да еще больной!

* * *

Светуля и Альберт подали заявление в загс. Светуля металась по Москве в поисках свадебного наряда. Жених удивлялся:

– И зачем тебе все это надо? Что, в первый раз под венец? Девочка-ромашка! Ребенок пошел в школу, а она фату вышивает!

Светуля объясняла:

– Да, в первый раз. По-настоящему, по любви. А все, что было там, – не считается! Ни свадьба, ни муж, ни даже – страшно признаться – ребенок! – Тут Светуля вздрагивала и потихоньку перекрещивалась. Помнила, как бабка в деревне шептала: «Прости, Господи!» Вот и Светуля, бывшая комсомолка, работница райкома, тоже осеняла себя крестным знаменем, неумело и отчего-то стыдясь.

После спокойного и равнодушного развода, кивнув на прощание бывшему мужу и отцу своего ребенка, Светуля прыгнула в машину любимого.

– Все! – облегченно выдохнула она. – Кончился ад. Начинается новая жизнь, где все: любовь, страсть, нежность и еще – куча надежд. На удачу и светлое будущее.

Про все то, что осталось в прошлой, постылой, жизни, Светуля старалась не вспоминать. В том числе и про сына, которого она называла «ребенком», а Альберт – «пацаном».

От любви к Альберту буквально заходило сердце!

Все справедливо. Должно же быть и у Светули счастье – после такого кошмара!

Свадьбу сыграли в ресторане. Дружки жениха – люди деловые, сразу видно. Серьезные, солидные. Одеты, как с картинки модного журнала: дубленки, обувь нездешняя, стрижки модные. И подружки у этих модников под стать: высокие, длинноногие, фигуристые. С такими прическами и в таких нарядах! А на пальцах и в ушах! Светуля даже покраснела от злости. Что там подарки жениха! Слезы, по-другому не скажешь.

Девушки эти томно курили на диванах, небрежно ковырялись в вазочках с черной икрой, пили черный несладкий кофе и говорили на своем птичьем языке. Суть беседы «молодая» не улавливала, даже шурилась от напряжения. Поняла только, что речь о диетах, зарубежных курортах – Балатоне и Золотых Песках. А еще о фирменных тряпках, общих парикмахерах и косметологах, что-то там о бассейне «Москва», стоматологе Вахтанге и «суке Варенцовой и гадине Кокошкиной».

Светуля, бедная, осознала: не из их она стаи, не из их. И не того птица полета. Ей до них ползти и не добраться. И еще. Самое неприятное. На Светулю, невесту и главную виновницу торжества, никто внимания не обращал. Никто. Ни модные и «упакованные» Альбертовы друзья, ни эти «птицы», что б их... Гадины лошечные. Светуля скрипнула зубами и зло посмотрела на молодого мужа. Посмотрим еще, кто кого! Будешь у меня по струнке! За все отыграюсь. И за твои копеечные сережки тоже!

Настроение Светули было сильно подпорчено. Просто разреваться хотелось. И еще обидно – родители жениха на свадьбу не явились. Ехать им, видите ли, далеко! Смех один – из подмосковного Подольска. Матушка прихворнула – давление поднялось. Ну и черт с ними! И с ними, и с его деловыми друзьями. И уж тем более – с их подружками!

Никогда еще Светуля не чувствовала себя такой униженной и оскорбленной, даже в доме бывшей Кабанихи-свекрови.

Денег после свадьбы совсем не осталось. Альберт объяснял, что все спустил «на кабак». Светуля раскричалась:

– А поскромнее нельзя было? Не на пятьдесят человек и не в таком кабаке?

– Нельзя, – ответил муж. – Ни меньше, ни кабак поплоче. Дело престижа. Иначе – засмеют. Скажут, жлоб Альберто. Просто жлоб и выжига. У нас так не положено. На свадьбах и поминках не экономят. Не поймут. Разговоры пойдут – скурвился парень.

– А тебе не наплевать? – продолжала орать Светуля.

– Дура ты, – небрежно бросил новоиспеченный супруг. – В каждом обществе свои законы. И понты.

– «В обществе», – хмыкнула она. – И вот это ты называешь обществом? Спекулянтов твоих и фарцу? Девочек этих центровых и панельных? Кавказцев стремных с золотыми печатками и зубами? Шулеров картежных? Ломщиков валютных?

Он усмехнулся:

– Да, это у тебя было общество! Свекровь, курва райкомовская, сука партийная. Коллеги ее с красными рылами. Муженек твой – затрапезник рублевый и бракодел. Одного урода физического заделал, другого морального. Папашка пропитый и мамашка-ворюга, расхитительница

общественной собственности. Вот у тебя было общество! Не нашему чета! Что говорить! – Он шмякнул кулаком по столу и вышел из комнаты.

Первую брачную ночь «молодая» провела в гордом одиночестве и в слезах. «Молодой», хлопнув дверью, исчез. На три дня.

Светуля поняла – надо молчать. Закрывать свой рот раз и навсегда. Иначе беда. Впереди – отъезд. Эмиграция. А это совсем страшно. Так страшно, что хоть в свою коммуналку беги или к родителям, в их лачугу с вечным запахом перегара и кислых щей.

* * *

Николаев не понимал, как жить дальше. На работу таскался как на каторгу, – там все скучно, серо, тоскливо. Даже имитировать деятельность никому не хотелось, никто не утруждался. Читали газеты, обменивались невзрачными новостями. Женщины вязали, крашили ногти и сплетничали. Мужики бесконечно бегали в курилку и играли в шашки.

Оживлялись в обеденный перерыв. После ругали столовскую еду и жаловались на испорченные желудки. Тетки бегали по магазинам и занимали очереди. Если удавалось что-то «оторвать», весь оставшийся рабочий день обсуждались покупки: колготки, польский шампунь, лак для ногтей или импортный лифчик. И мужики от безделья тоже принимали жаркое участие в этих обсуждениях, что казалось совсем противным.

Дома было не лучше. Маман с годами становилась невыносимей. Попрекала неудачными браками и тряслась над внуком, толстым, раскормленным, ленивым и наглым мальчишкой.

Оба – маман и Шурик – его ни в грош не ставили. Откровенно презирали. Шурик хамил – открыто, с наслаждением. Бабка делала вид, что ничего не слышит.

Однажды он влепил сыну пощечину. Подскочила маман – безумная, растрепанная, с сумасшедшими глазами – и кулаком ударила его по голове.

Он опустился на стул и заплакал. Сынуля заржал и на полную громкость включил кассетник. А Николаеву захотелось исчезнуть. Испариться. Растаять. Умереть. Просто сдохнуть.

Он начал пить. Дома, один. По вечерам, когда маман, ставшая почти безумной в слепой любви к внуку и такой же слепой и ярой ненависти к нему, сыну, засыпала. А Шурик, наплевав на тревожный бабкин сон, врубал свою безумную музыку.

Николаев напивался медленно, с расстановкой, накачивался – по-другому не скажешь, постепенно наблюдая, как опускается куда-то глубоко, на какое-то невидимое далекое дно. Там отчаяние и жгучая тоска его отпускали, но ненадолго, на какой-нибудь жалкий час или два, чтобы снова накрыть, равнодушно и холодно, словно расчетливый профессиональный убийца, не знающий пощады и жалости.

Шурика выгоняли из – какой по счету? – школы. Бабка ходила по инстанциям, умоляла и угрожала, кричала, что ребенок – сирота, брошенный подлой шлюхой матерью. Отец – пьяница и прощелыга. Она одна бьется, как может, а силы на исходе. Ее жалели и в очередной раз внука пристраивали, до следующего раза.

Родители одноклассников Шурика писали в роно и требовали «избавить детей от этого хулигана». Бабка грозила судом. В восьмом классе любимый внук, сам обкуранный вусмерть, попался на торговле травкой. Бабку сразил инфаркт, потом – проводы на пенсию, в стране начинались перемены.

Шурик состоял на учете в милиции. Его нерадивый папаша потерял работу. Бабка почти не вставала с постели. Жили на ее пенсию. Шурику не хватало – и он устраивал истерики. Потом перешел к действиям: ограбления машин (магнитолы и колеса), торговых ларьков. С рук до поры сходило. Появились кожаная куртка, сапоги-казаки, новый магнитофон и деньги, небольшие – на дешевых девочек и дешевые кабаки: водка, шашлык, салат.

Жизнь вроде бы и налаживалась, да только как-то слабенько, серенько. Быстро надоели девки с начесанными челками, в ажурных колготках, пластиковые липкие столы в затрапезных забегаловках и плохо говорящие по-русски официанты в несвежих рубашках. Мелко все как-то. А по городу – темному, страшному, к вечеру совершенно пустому – уже разъезжали «бээм-вухи» и «мерсы», пригнанные из далекого далека и казавшиеся несбыточной сладкой мечтой. В центре распахивали двери новые кабаки: с хрустальными люстрами, белоснежными скатертями, коврами и услужливой обслугой. Появлялись и магазины – в центре, в самом сердце столицы. И там, в хорошо освещенных витринах, стройные муляжи с тупыми пластмассовыми лицами демонстрировали голодному городу роскошные шмотки, явно отличающиеся от того турецкого и китайского ширпотребя, которым торговали в Лужниках.

Было к чему стремиться. Была цель! Да и способов достижения оной имелось множество. И Шурик начал думать и придумал. Впрочем, это было совсем несложно в те-то годы! Заиграться он не боялся. Смелый оказался мальчик.

* * *

Мать его, Светуля, понимала, что будет трудно, и быстро догадалась, что Альбертик – фрукт еще тот! Уже в Москве стало ясно: щедрости в нем на копейку. Все показное. Деньги считать любит, особенно на семью. Не жалеет только на понты – здесь вынет последнее и «накроет поляну». А на завтра будет ныть и требовать сдачу из булочной.

На «деловые встречи» наряжался тщательно. Себе на тряпки не жалел, поливался духами так, что Светулю начинало подташнивать, и даже в лютый мороз она распахивала окна. В кабаках зависал до утра. На следующий день отсыпался до вечера. С похмелья был зол и придирчив. В еде капризен – говорил, что привык к кабакам и эти «помои пойдут только свиньям».

На свои тусовки жену не брал. Светуля подозревала, что и погулять он не дурак. Нашла в кармане предметы защиты от случайных неприятностей, предъявила. Он разорался и пропал на два дня.

Светуля считала копейки – в буквальном смысле, не переносном. Однажды увидела на дороге вымазанную в грязи десятку, так рванула, что чуть не угодила под колеса. Десятку отмыла и высушила утюгом. И сколько было счастья! Купила новые колготки, польскую пудру и кремный торт. Ела столовой ложкой в одиночестве на кухне и в голос ревела.

Пошла работать, точнее – прислуживать. Халтуру нашел любимый муж. Какая-то его дальняя родственница, древняя и богатая старуха, разумеется, одинокая, искала домработницу. Светуля убирала квартиру, мыла старуху, стригла ей ногти и ходила за продуктами. Квартира старухина была похожа на темное и мрачное логово. Свет хозяйка не включала – берегла электричество. На старой антикварной мебели стояли вазы и статуэтки, покрытые пылью. Вытирать пыль с них старуха не разрешала. На стенах висели портреты в тусклых затейливых рамах. Телевизора и радио не было – старуха часто сидела в глубоком кресле и молчала или дремала, громко, по-вороньи, каркая во сне.

Зарплату Альбертик у Светули отбирал – деньги должны быть у хозяина! Советовал приглядеться к старухиным богатствам. Светуля его не поняла:

– В каком смысле?

– В прямом, – усмехнулся он. – Мелочовку можешь прихватить, старуха не заметит. А там посмотрим! – И он заржал в полный голос.

Светуля была кем угодно: плохой матерью, неважной хозяйкой, корыстной и мелочной, скандальной и истеричной бабой. Но не воровкой. И становиться ею не собиралась – должны же быть и у неважного человека положительные качества!

А Альбертик продолжал:

– Ну, не созрела? Тушуешься, дура? Там что ни цацка – все деньги! Прихвати фигурку ерундовую или половник серебряный! Хотя бы такую херню!

Он уже не усмехался – требовал. Светуля плакала и отказывалась. А потом сдалась. Обливаясь холодным потом и немея от ужаса, прихватила два серебряных ножа с костяными ручками и фигурку пастушки с козочкой и свирелью.

Альбертик покрутил в руках ворованное, сделал кислую мину и вздохнул:

– Ладно, на первое время сойдет! А вообще включи соображалку! Бери, что ценнее. Серебро это копеечное, «глина» тоже не фонтан.

Дальше были еще какие-то вещи, она плохо понимала, что делает. Было противно и страшно. Хотелось одного – чтобы этот ад поскорее закончился, пока старуха не обнаружила пропажу вещей: имела у нее привычка обходить все с инспекцией.

Когда пришло разрешение на отъезд, Светуля наконец вздохнула.

Уезжали налегке: только одежда, пара фотоаппаратов, янтарные и коралловые бусы, шерстяной ковер, советские часы и пара банок икры. Неделя в Вене, в накопителе. Город видели из окна автобуса, с территории их не выпускали. Далее – Италия. Тоже из окна. Привезли их в маленький городок на побережье, расселили. «Русские» – так их называли местные жители – ходили на базар и пытались пристроить свое барахло: павлопосадские платки в сочных розах, блестящих матрешек, приборы из мельхиора, самовары и льняные скатерти. На ура шли икра и водка. А вот все остальное брали плохо и за копейки. На базар ходили в основном мужчины – так безопаснее. Но Альбертик отказался, заявил, что себя не на помойке нашел. Пил пиво с пиццей и валялся на пляже. А на базар – шумный, орущий, невыносимо жаркий – ходила Светуля. С торговлей у нее получалось плоховато, и муж опять злился – продешевила.

Ее новая приятельница, одесситка Роза, дама в возрасте и опытная, бывшая директриса ресторана, сказала как-то в душевной беседе:

– Влипла ты со своим законным, ой как влипла! Приедешь в Америку – сортиры пойдешь мыть. А хрен твой будет бабки отбирать и на диване лежать. Помяни мое слово! Ни на какую работу в жизни не пойдет! Я таких знаешь сколько перевидела! Там-то фарцевать нечем, а больше ни на что он не годится. Ты хоть сама это понимаешь? Беги от него, спасайся, потом поздно будет. Он ведь клещ – всосется, не отдерешь! Он тебя за это и взял – баба простая, русская, жалостливая. В беде не бросит. Щи из топора сварганит, да еще и коня остановит, и в горящую избу попрется! Не дурак он у тебя и жизнь легкую любит. А вот пахать – ни за что. Такие, как он, считают, что не для этого на свет рождены. Ты уж мне поверь! Я таких перцев за свою жизнь навидалась! И мой Аркашка такой. Только мы с ним жизнь прожили, двух парней подняли. И когда меня посадили на два года, он каждый месяц ездил и передачи возил. А я добро помню.

Все Светуля понимала. Все. Только сейчас, на пересылке, Альбертика не бросишь. А там... Посмотрим. Кто знает, как жизнь повернет! А вот что бежать от мужа надо, понимала. И еще понимала, что теперь она одна на всем белом свете. И любит его, своего нерадивого муженька. Все еще любит. И ничего с этим поделать не может.

Дальше была Америка, тихий городок под Филадельфией. И все точно так, как обещала толстая одесситка. Альбертик лежал на печи, пил пиво, смотрел телевизор и капризничал. Светуля пахла как проклятая. Днем на кассе в супермаркете, вечером выгуливала лохматого и брехливого старого шпица соседки, по выходным убирала в семье уже успевших прочно обосноваться эмигрантов.

Когда Альбертику удавалось с истериками и угрозами «покончить свою несчастную жизнь» вытащить у жены немного денег, он срывался в Атлантик-сити, в казино.

Иногда деньги просто воровал, как бы Светуля ни прятала.

В общем, рая на земле она не обрела.

* * *

Шурик хотел стать бандитом – была у человека такая мечта! А в бандиты просто так не брали, желающих много. Там ценились спортсмены, крепкие ребята, прошедшие Афган, либо просто – беспредельщики, готовые на все. Мальчик Шура не подходил ни по одному критерию, но сильное желание ему помогло. Взяли. Мелкой «шестеркой», сошкой, фунтом. А Шурик старался! Ой как он старался! И его заметили. Даже сами удивились – странный парень! То ли денег так хочет, то ли просто беспредельщик, и такая жестокость в крови чертом дадена. И то и другое – вполне имело место. Шурик Николаев «поднялся» быстро. Теперь у него самого появились подчиненные – сошки и «шестерки», рядовые бойцы вполне видимого фронта. Денег теперь у Шурика было море. И девки такие... Раньше и в самом сладком сне не привидится! И кабаки с хрустальными люстрами и крахмальными скатертями, и охотно прогибавшие спины официанты и метрдотели. И тачки – «бээмвухи» и «мерсы». И дорогие «котлы» из чистого золота. И «голда» в палец на шее. И хата, съемная, но при делах: мебель, телик, видик, койка-аэродром – с «ляльками» покувыркаться.

Все теперь у Шурика было, даже «погоняло»: Шура-бык. А бык – животное сильное, смелое. С кровью налитыми глазами и тяжелыми рогами. Шурик гордился и кликухой, и делами ратными. Всей своей жизнью гордился. Удалась.

Про бабуку знал – не встает, копыто сломала. Папаша убогий пьет. Чуть ли не побирается. А про мамашу он не вспоминал, потому что больно было. И еще – обидно. Потому что на хахалю родного ребенка променяла. Сука щипаная!

Как слышал песню про матерей – а блатные эту тему любили, – рыдал, как пацан. Даже стыдно было перед братвой. Хотя те ржачку не устраивали, все понимали. У самих, у доброй половины, мамыши такие же курвы: кто в тюрьме, кто пьет беспробудно. А кто еще дитем своего ребеночка в приют подкинул.

* * *

Николаеву иногда хотелось в церковь. Просто зайти. А что там будет, он не знал, не понимал. Стоял у входа и боялся. И еще – стыдился. Вида своего стыдился. Бабки, вечные церковные обитательницы, проходили мимо и бросали на него взгляды – кто суровый, кто осуждающий, а кто и жалостливый. Одна такая подошла, маленькая, сухонькая, платочек серый на голове, чуни на ногах стоптанные. Говорит: «Что, сынок, не заходишь? В глаза *Ему* посмотреть боишься?»

Он молча кивнул.

– Не бойсь, – успокоила бабка. – К нему такие ходят! Почисти тебя! Хотя у грехов меры нет! У кого-то грех – буханку спереть, ежели голодно. А у кого-то жену отравить – чтобы век его не заедала. А у тебя, вижу, своя беда – жизнь разбитая. В глазах такая тоска, о веревке думаешь. Это потому что совестливый. А греха на тебе нет.

– Нет, мать! Не совестливый, ошиблась ты. И грех на мне есть. Да такой, что... Сына я больного бросил и мать его. Забыл про них. Жизнь свою устраивал, с белого листа хотелось, словно их и не было. А получилось... Совсем плохо... И лист тот оказался не белый, а чернее черного.

– Так повинись! – всплеснула руками бабка. – Повинись перед ними. И перед *Ним*, – кивнула на храм, – тоже. Он и простит! И будет тебе облегчение.

– Бог-то простит, – ухмыльнулся Николаев. – А вот они... Да и я сам себе индульгенцию не выпишу.

Бабка смутилась от незнакомого слова и перекрестилась. А он, стыдясь очередной слабости и откровения, пошел прочь.

Мать не могла пережить перемены в стране, потери идеалов, а главное – исчезновения любимого внука. Она задыхалась от злобы и бессилия, кричала в голос, рвала в клочья газеты и разбила пепельницей, тяжелой, хрустальной, из бывших подношений, телевизор. Метнула с такой силой, что в осколки – и ящик, и пепельница. Жили на ее пенсию и на его зарплату. Совсем смешно – Николаев сторожил теперь гаражи в соседнем дворе. Он и два приبلудных пса, лучшие и единственные друзья, Борька и Малыш, огромные, свирепые, натасканные дворняги. С ними делил и хлеб с колбасой, и досуг.

На огромном черном джипе однажды заехал Шурик. Из машины вышли его друзья. Все, как на подбор, чудеса селекции. Пацаны – так они назывались – громко ржали, непрерывно смолили и громко сплевывали себе под ноги. Ждали Шурика. Он зашел к бабке. Та в истерику – внучок, любимый! Подойди, обниму!

– Ба! Ты давай без базара! – строго сказал Шурик и посмотрел на часы. – Вот гостинцы. – Он поставил на стол три огромных пакета. – И еще тут, – Шурик смутился, – лаве, короче, бабло. Пока хватит. – На стол легла тугая пачка денег, перехваченная аптечной резинкой.

Бабка разрыдалась.

– Короче, – продолжал вконец смущенный внук, – не жалею денег! Трать от вольного! Ну, питайся там хорошо. Врачей зови. И это... – Он оглядел комнату, поморщился, потянул носом. – Ну, приберитесь тут, что ли. Вызови кого. А то сдохнуть тут у вас можно, ссаньем провоняли до некуда!

Бабка мелко закивала. Шурик вышел из комнаты. На кухне сидел папаша. Шурик увидел гору немытой посуды, пустые бутылки и полные окурков пепельницы.

– Как свиньи, ей-богу! – бросил он. – Разберитесь хоть! А то... Не как люди!

– А ты? – спросил отец. – Ты – как человек?

Шурик цыкнул зубом:

– Много ты сделал, чтобы я был «как человек»? Или сука твоя? Ты ведь даже на меня не смотрел, как не видел. Одна бабка билась. Как могла. – И он пошел к двери. Обернулся. – Телефон мой запиши. Если что. Ну, если бабок надо. Или обидит кто. – Он записал свой номер на стене, прямо на обоях.

Николаев смотрел в окно, как сын Шура садился в машину. Почему-то он подумал, что больше они не встретятся.

Николаев позвонил Шурику лишь однажды – когда умерла мать. Механический равнодушный голос ответил, что такой абонент в сети не зарегистрирован. Думать можно было всякое, но Николаеву почему-то вообще не хотелось думать на эту тему. По ящику каждый день говорили о взрывах машин, расстрелах в кафе и ресторанах, стрелках, сходках, разборках – обо всем, что входило в атрибутику тех «славных» лет. Телевизор Николаев не включал – боялся услышать свою фамилию или увидеть изуродованное тело сына.

А жизнь его, обесцененная, пустопорожняя, опостылевшая до некуда, нелепая и ненужная даже ему самому, все еще продолжалась.

Если вообще все это можно было назвать жизнью.

* * *

Сережа пошел все-таки в Строгановку. Решил заниматься театром всерьез. Уже на третьем курсе про него пошла молва – есть такой парень, что называется. Может учудить всякое! Спектакль оформить так, что зритель повалит только на декорации и костюмы. К защите

диплома его ждали пять столичных театров, да еще и соревновались между собой – пытались перекупить молодого гения.

На семейном совете решили: работать по контракту, брать только тот материал, который творчески интересен. Работать в меру сил, не надрываться. Помнить о своем здоровье! Здесь настаивали и мать, и отец.

Конечно, это оказалось невыполнимым – потому что интересно было все: и классические постановки прославленных мэтров, и поиски молодых новаторов.

Сережа был счастлив – эти театральные люди были абсолютными фанатами. Глаза их горели, идеи рвали на части. Кого-то осеняло поздней ночью, а кого-то – ранним утром. Раздавался звонок, и лилась беседа эмоционально, воодушевленно, с непременными вскриками: «Гениально!», «Ну ты даешь!». А после премьеры: «Старик, ты гений! Ты наше все». Ну и так далее.

После спектакля ехали к кому-нибудь на квартиру. Обычно – в центре, захлавленную, как водится у «гениев» и просто творческих людей.

Да, Сережа чувствовал себя счастливым. Впрочем, за всю свою недолгую жизнь он не мог вспомнить практически ни одного несчастного дня. Если только ночные слезы матери... Тогда, в Иннулиной квартире, в далеком детстве. Но эти воспоминания, или, скорее, ощущения, были неточными, расплывчатыми, не вполне внятными.

Утром мать улыбалась. Всегда. И он начинал думать, что ему приснился плохой и тревожный сон.

А потом появился отец. Новая квартира, шумный и счастливый переезд, веселое обустройство. Поездки на каникулы к бабушке в Питер, походы в Карелию, друзья отца, счастливые глаза матери, долгие разговоры с Иннулей. Школа, институт – все было счастьем.

На годовщину родительской свадьбы он подарил им поездку в Париж. А в день рождения отца утром под окном у подъезда стояла новенькая, кокетливая «японка», зазывно сверкая гладкими полированными боками.

Впервые он увидел слезы в отцовских глазах.

Сережа предложил поменять квартиру – побольше, попросторней, поближе к центру. Зарабатывал он так, что любые варианты были возможны.

Родители отказались:

– Мы тут привыкли! А вот тебе о жилье подумать надо. Все верно, в центре, старом и тихом, поближе к работе, поменьше терять времени в пробках.

Он даже обиделся:

– Гоните?

Отец ответил спокойно и серьезно:

– Ты – все, что у нас есть. Вся наша жизнь. Наш воздух и наше дыхание. Мы счастливы быть рядом. Но ты человек взрослый. Надо строить свою жизнь.

В этот момент мать расплакалась и отвернулась к окну.

Сын обнял ее за плечи:

– Потерпишь еще, если мы пока тут, все вместе?

Мать обернулась, и он увидел ее заплаканные счастливые глаза. Отец вышел из комнаты. Люба обняла сына за шею и еще раз подумала: «За что мне, обычной детдомовской девчонке, выпало такое огромное человеческое счастье?» Ответ на этот вопрос, который мучил ее всю жизнь и который она неоднократно себе задавала, по-прежнему не находился.

* * *

Сережа влюбился. Это было видно и по его глазам, и по счастливой, отрешенной, блуждающей улыбке. Улыбке влюбленного человека.

Родители затаились и ни о чем не спрашивали. Любино сердце было не на месте. Отвечает ли взаимностью та женщина? Кто она? Да, Сережка замечательный – тонкий, умный, талантливый! Необыкновенный! Но его увечье, его здоровье... Кто, кроме матери, способен нести этот крест?

Ошибалась Люба, ошибалась и зря тревожилась и не спала ночами. Избранница была представлена как невеста. Тихая девочка, скрипачка театрального оркестра. Хорошенькая, умненькая и воспитанная. Какая-то родная, что ли. С первого взгляда. Свадьбу назначили на лето. Июнь, тепло, первая зелень. Начались хлопоты: платье, туфли, костюм, кольца, ресторан. Лидочка – так звали будущую невестку – приходила к ним на выходные. Они вместе с Любой готовили ужин.

Перед свадьбой купили квартиру у Чистых Прудов, маленькую и уютную двушку. Женя занимался ремонтом – Сережа был слишком занят.

* * *

Николаев стоял в подъезде и жадно курил. Потом, бросив сигарету, прильнул к грязному окну. Из подъезда напротив вышла молодая пара. Кудрявый светловолосый мужчина в сером костюме и тоненькая женщина в шелковом кремовом платье и веночке из мелких живых цветов. Мужчина шел медленно, заметно прихрамывая, а спутница его не торопилась, стараясь приноровиться к неспешному шагу. Следом вышла невысокая полноватая женщина в нарядном костюме и туфлях на каблуках. Ее кудрявые волосы были тщательно уложены в высокую прическу. Под руку женщину поддерживал высокий седоватый мужчина явно военной выправки.

Они о чем-то поговорили с молодыми и уселись в машину. Седоватый мужчина за руль, кудрявая женщина рядом. Молодые устроились сзади.

Машина развернулась и медленно выехала со двора.

* * *

Николаев вышел на улицу, огляделся и закурил очередную сигарету. Потом поднял голову и посмотрел на распахнутые окна третьего этажа. Там медленно и лениво колыхались светлые легкие занавески, совсем не защищая квартиру от густого и назойливого тополиного пуха.

Он стоял долго, прикуривая одну сигарету от другой. Потом, понуро опустив голову, обреченно поплелся прочь.

Жизнь продолжалась. И ничего с этим нельзя было поделать.

Свои и чужие

Они дачу снимали. «Съемщиков» видно сразу. Во-первых, люди они пришлые, временные, во-вторых, у магазина или правления группками не собираются, председателя и бухгалтера не ругают, к дорогам претензий не предъявляют и на черствый хлеб и просроченную сметану не жалуются. Все вроде их устраивает. Главное – воздух, лес и речка. Даже на комаров не жалуются! Вот только когда дожди... Тут «съемщики» беспокойно смотрят на небо, внимательно слушают сводки погоды и сетуют, сетуют. Оно и понятно – мы, собственники, можем уехать в город или рвануть на море. А они... У них «уплочено». Деньги немалые, приходится с погодой мириться: надевать резиновые сапоги, непромокаемые дождевики и гулять, гулять, гулять. Детки шаловливые месят глину, шлепают по лужам, мызгают одежду и радуются всему. Мамки и бабки мечтают о городской квартире, теплой воде и человеческом сортире. Но здоровье деток дороже, чем собственные желания, и бедолаги мучаются дальше.

Вот эта пара. Бабушка и внучок. Она явно из бывших учительниц или докторш. Никого не поучает, советы дает ненавязчиво и только тогда, когда попросят. Детку свою ругает исключительно за дело.

Внучок по имени Ваня хорошо развит и замечательно воспитан. Бабушка, Елена Степановна, стройна, с маникюром и аккуратной укладкой, подкрашенными губами и легким, ненавязчивым шлейфом хороших духов. Короче говоря, ухоженна. Не бабулька – дама. Встречаемся с ней ежевечерне, на просеке – так называется главная прогулочная улица, местный Арбат, самая «туса», как говорит мой старшенький. По «тусе» мотаются подростки на великах – разумеется, кадраются. Тетеньки-пенсионерки важно фланируют, обмахиваясь жасминовыми веточками, бесцеремонно разглядывают прохожих, в основном не одобряют и сплетничают, сплетничают, сплетничают. У них клуб по интересам – выползают ровно в девять, после просмотра очередного шедевра «Пусть говорят». Есть у них и главарь, государыня-матушка, негласная президентша и непререкаемый авторитет – Галин-Иванна, высокая пышногрудая дама с ярко накрашенными, всегда недовольно надутыми губами. Она – жена председателя нашего кооператива Пал Палыча.

Их обоих молча ненавидят, подозревают в стабильном воровстве, побаиваются – странно, почему? – и заискивающе улыбаются при встрече.

Молодежи и поколению чуть постарше наплевать и на Галин-Иванну, и на Пал Палыча, вместе взятых. Никакого пиетета к ним они не испытывают, просто живут своей жизнью.

Следующая группа товарищей – мамашки и бабки с малолетками. Здесь свои интересы и свои разборки – в основном, конечно, из-за детей. Эта группа – самая многочисленная и шумная. Там оказалась и Елена Степановна с внучком Ванюшкой. Надо заметить, она в обсуждениях и осуждениях никогда не участвовала. Просто тактично отворачивалась или отходила. Ванюшку своего прилюдно никогда не ругала – тоже отводила в сторону. Да и ругать его, собственно, было не за что. В драки Ванюшка не лез, не орал, не капризничал. Игрушками делился. Чужих не отбирал. Не ребенок – золото. Впрочем, у такой бабушки...

В пятницу вечером, как и многие другие, Елена Степановна с внуком спешили на станцию. Там встречали «безлошадных» родителей. А тех, кто на машине, поджидали у развилки, у «большака», как говорили старожилы.

Ванюшка крепко держал бабушку за руку, смотрел по сторонам и уплетал мороженое. Вскоре из подошедшего поезда выходил мужчина средних лет – подтянутый, высокий, седовласый, в очках. Он рассеянно оглядывал встречающих и наконец замечал своих. В том, что это «свои», – сомнений не было. Ванюшка бросился к мужчине, а Елена Степановна, улыбаясь, устремлялась вслед за внуком.

Мальчик кидался к мужчине на шею, а бабушка стояла рядом. Просто стояла. Не целовалась и не обнималась с мужчиной, они по-дружески пожимали друг другу руки. Как-то совсем по-дружески. Мужчина сажал Ванюшку на плечи, подхватывал тяжелый рюкзак, и компания двигалась к поселку.

«Странно, как-то! – думала я. – Это точно не сын Елены Степановны – сын с матерью руки по-дружески не пожимают. Значит, зять. А где же тогда дочка, Ванюшкина мама?» А мамы не было. Ее не было все лето, с мая по сентябрь. Ни одного раза. Значит, с мамой что-то случилось, наверное, беда. Ну не может нормальная мама не приехать за все лето к ребенку. Значит, больна или – самое страшное – ее просто нет.

Я не из тех, кто будет задавать подобные вопросы. Но другие, из не в меру любопытных, естественно, нашлись. Самые подлые подкатывали к мальчику. Ванюшка широко раскрывал глаза и пожимал плечами – не знаю. Потом подкатывали к Елене Степановне. Та чернела лицом, резко брала внука за руку и быстро уходила.

Горе, решили мы. Значит, и вправду горе. Умерла дочка Елены Степановны. Нет ее на свете. Дочки и Ванюшкиной мамы. А как умерла – вот уж не наше дело. И мы заткнули сплетницам рты.

Елена Степановна общества отныне сторонилась. Мальчик, конечно, к малышне рвался, а вот она стояла поодаль и была очевидно напряжена.

Моя дружба с Еленой Степановной началась случайно. В поселке после грозы, как обычно, вырубili свет. Ничего страшного – жалко только продукты в холодильнике. И холодильники старались открывать пореже. Конечно, у всех были и фонарики, и свечки. Только у неопытной дачницы Елены Степановны не нашлось ни свечек, ни фонарика и газовой плитки – лишь электрическая. Ни до туалета впотьмах не дойти, ни молоко ребенку вскипятить.

Наши дачи по соседству, и Елена Степановна, очень смущаясь, постучала в мою дверь. Конечно, я дала и свечи, и фонарь, сварили Ванюшке кашу, налили в термос кипяченого молока. Елена Степановна горячо меня благодарила – теперь они с внуком до утра продержатся. А уж там – как сложится. Если свет не дадут – а такое может случиться, – позвонит в Москву Валентину Ильичу. Он их и заберет. Тем более что прогноз на неделю отвратительный – дожди, холод. Было понятно, что Валентин Ильич – тот самый седовласый мужчина, которого они с Ванюшкой встречали по пятницам. Больше Елена Степановна распространяться не стала, а я не из любопытных.

Но планы поменялись, как часто бывает. Заболел мальчик. Ночью поднялась высокая температура. Мы вызвали «Скорую», оказалось, бронхит. Нужны антибиотики и прочие лекарства. Разумеется, я съездила в ближайший город и все купила.

Елена Степановна была растеряна: что делать? Ехать в город? Везти больного ребенка? В московской квартире сыро – отопления нет. Здесь, на даче, по крайней мере можно протопить печь, открыть окно – воздух есть воздух, – купить у молочницы парного молока.

Я, опять же на машине, всегда под боком. К тому же – медик, сделать укол и послушать легкие всегда смогу. Одним словом, я на свой страх и риск уговорила Елену Степановну остаться. Просто посчитала, что ребенок быстрее поправится именно здесь. Так началась наша дружба. Именно – дружба, которой уже много лет и которая проверена этими самыми годами.

Историю своей семьи она рассказала не сразу, спустя пару недель. Когда поняла, что может мне окончательно доверять.

Поздно вечером детки наконец с усилиями были упакованы в постели, а мы сидели на веранде, пили чай с вареньем и болтали. Я рассказывала Елене Степановне про перипетии своего недавнего развода, про новую любовь, которая меня оглушила и почти сшибла с ног, про все терзания, страсти, обиды, неуверенность. Она слушала молча, очень внимательно, ничего не комментируя. Советы не давала и не утешала. Сказала только, что это счастье – так полюбить в весьма зрелом возрасте, что я права – не стала обманывать мужа и держаться за мате-

риальное. Еще добавила, что точно все образуется, потому что из любой ситуации обязательно есть выход. Только надо набраться терпения и подождать.

– Как, оказывается, все просто! – иронизирую я. – Набраться терпения и подождать!

Я не верю, что все разрулится само собой, потому что не фаталист и считаю, что свою жизнь мы строим сами. Какой построим, такой она и получится. Удачной или не очень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.